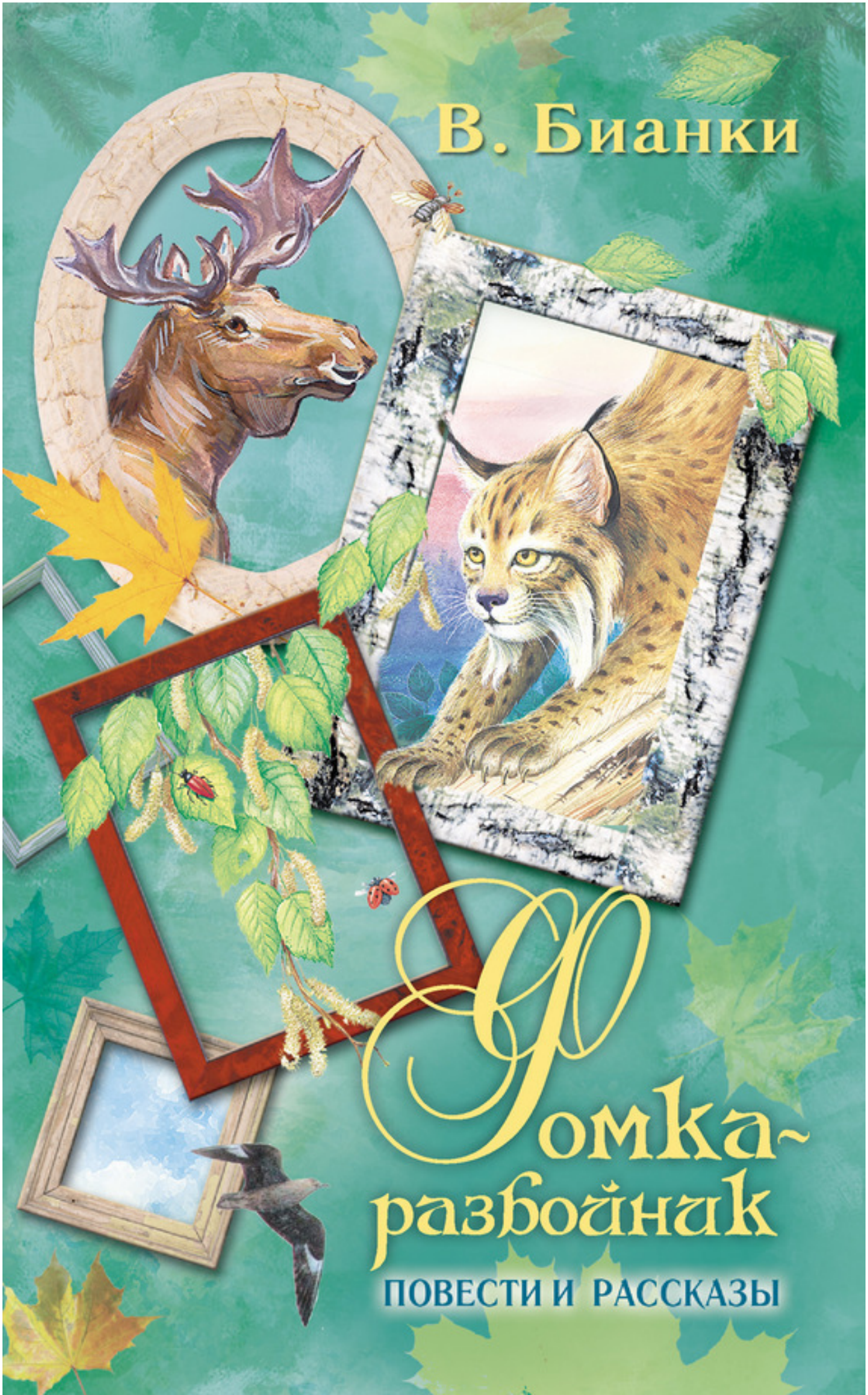
В. Бианки
Ромка-разбойник
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Виталий Бианки

Фомка-разбойник (сборник)

«АСТ»
2012

Бианки В. В.

Фомка-разбойник (сборник) / В. В. Бианки — «АСТ», 2012

ISBN 978-5-271-44871-3

В книгу вошли рассказы и повести замечательного писателя-натуралиста Виталия Валентиновича Бианки (1894–1959). Мир дикой природы, противостояние и дружба человека и зверя, животные на службе у человека — вот темы произведений, вошедших в данный сборник. Для детей среднего и старшего школьного возраста.

ISBN 978-5-271-44871-3

© Бианки В. В., 2012
© АСТ, 2012

Содержание

Задумчивые рассказы 5
Розовое и оливковое 5
Черноголовка 8
Ночной зверь 16
Чайки на взморье 21
Двойная весна 25
О Аулей, Аулей, Аулей! 29
Морской чертенок 31
1. В борьбе со стихиями 31
2. Из темной пучины 32
3. Мечты и действительность 33
Сумасшедшая птица 35
Фомка-разбойник 38
По следам 41
В гостях у челябинцев 45
Рябчик 45
Ласковое озеро Сарыкуль 52
Под землей 58
Цветная ночь 67
Над землей 71
Заяц-всезнаец 76
Джульбарс (Рассказ ворошиловского стрелка) 81
Роковой зверь 84
Конец ознакомительного фрагмента. 86

Виталий Валентинович Бианки
Фомка-разбойник. Повести и рассказы

Задумчивые рассказы

Розовое и оливковое

Я пришел домой с прогулки, вынул из кармана коробку с ватой и осторожно открыл ее.

В вате лежало маленькое яичко – такое хрупкое на вид, что я сразу не решился взять его огрубевшими пальцами. Выкатил его из коробки себе на ладонь.

Яичко было прекрасно, как жемчужина, вытянутой, удлиненной, совершенной формы.

Сияющая, оливкового цвета живая жемчужина! Цвета свежих ивовых листьев. Без пятнышка, без малейших крапинок.

Внутри нее теплилась маленькая жизнь – неведомая, таинственная, еще не готовая родиться на свет. Просвечивала и мерцала сквозь тонкую хрупкую оболочку нежно-нежно-розовой теплотой.

Нет красок, чтобы передать на бумаге или полотне живую прелесть сочетания этих цветов. На картине розовое смешивается с оливковым – получится муть, грязь. Здесь розовое и оливковое составляют одно целое, но чудесным образом не сливаются, существуют сами по себе: розовое – чтобы в свой срок превратиться в крылатое, поющее живое существо; оливковое – чтобы исчезнуть, рассыпаться в прах после его рождения.

У меня на ладони покоилось соловьиное яичко.

В моей коллекции уже были соловьиные яйца, но все шоколадного цвета. Только сегодня мне удалось, наконец, найти под кустом в заросли и в и кудрявых ольх гнездо с оливковыми яйцами.

Их было пять в гнезде. Я взял только одно, чтобы самочка не покинула гнезда и вывела остальных четырех птенцов. А мне достаточно и одного яйца. Осенью я повезу свою коллекцию в город. Горожане редко вспоминают о птицах. Пусть-ка полюбуются на такую красоту.

Так я думаю, бережно держа на ладони оливковое с розовым яичко.

Свободной рукой я достаю из стола заостренные с одного конца стеклянные трубочки. Выбираю самую тонкую из них, придвигаю к себе блюдечко, достаю булавку.

Остается только сделать одну маленькую дырочку в яйце и выдуть его, выпустить его жидкое содержимое на блюдечко. Но тогда исчезнет розовое! Одним соловьем станет меньше.

Правда, соловьев много вокруг деревни, где я живу. Как наступили долгие дни и теплые белые ночи, воздух наполнился ивовой белой пушицей, – принялись они щелкать круглые сутки.

Вчера днем ко мне в окно доносился свист соловьев.

– Когда же они спят-то? – удивленно спросил меня Смирька, восьмилетний соседский парнишка.

А вечером, когда в одиночестве меня тоска взяла и я уселся на крылечке – покурить, подумать, как-нибудь разобраться в себе, – как они свистели, как щелкали!

Гляжу, и Смирька ко мне подсаживается: и ему не спится, не знает, куда себя деть.

Ну, пусть сидит, думаю, он не мешает.

Сидим, думаем каждый про свое. И соловьи свое поют.

Вдруг резкий крик дергача резнул слух.

– Грязь-грязь! Грязь-грязь! – тужится, скрипит сквозь туман дергач на сыром лугу.

– Сало! Сало! Пек, пек, пек! – легко, бархатисто выводят в кустах соловьи. – Сало!

– Грязь! Грязь! – орет дергач.

Так они долго, без устали спорят друг с другом, и мы со Смирькой невольно вслушиваемся.

Сперва кажется: все соловьи поют одинаково, и им ужасно мешает скрип дергача. Но стоит только немножко вслушаться, и вот дергач – сам по себе и соловьи – сами по себе. Сразу и вместе они, и отдельно. Как розовое и оливковое в яичке.

Соловьиные песни тоже разные. Один поет совсем близко – в лядинке через дорогу от нас – в сыром лиственном леску. Его голос слаб и высок. Некоторые ноты выходят у него резковато; он даже срывается иногда с голоса: совсем еще молод, видно.

Голос другого ниже и сильней, песни дольше. Он уверенно берет трудные низкие ноты и не срывается на верхах. Он дальше: под горкой, за банями. А кажется – тут же в лядинке поет. Хороший музыкант.

Но когда запел третий, – душа всколыхнулась!

Ничего, что он всех дальше от нас – через поле, в зарослях ив и ольх; каждая нотка его песни слышна отчетливо. Его густой, мощный свист легко покрывает натужный скрип дергача. Какой певец!

Его клокочущие трели великолепны. И как смело он переходит от томных, за душу берущих низких нот к дерзкой «дешевой дудке»![1]

Замер на низких и вдруг – фиулит! – вырвал свистом, да с каким росчерком! И замолк.

– Здорово? – в восхищении спрашиваю Смирьку.

– Дивья! – притворно пренебрежительно говорит Смирька. Но и он доволен. И вспоминает из басни: —А верно, что «петь великий мастерище».

Какая уж тут тоска: самому хочется петь и жить, жить – радоваться!

Очнулся я от дум. На ладони оливковое яичко. Нет, не стану я выдувать его! В нем – птенчик нашего замечательного певца. И кто знает: не заключен ли в этой тонкой скорлупке такой же чудесный дар песен?

Отнесу яичко обратно в гнездо, в заросль.

В заросли крики Смирьки и звонкий визг его сестренки.

И скрипучий, неприятный птичий голос.

Спешу напролом через кусты и хворост. Но я опоздал.

– Гляди, как я в нее! – кричит мне Смирька. – Прямо в лоб шмякнул!

Его сестренка смеется и грязными пальцами размазывает по своему розовому лицу крошечный желток.

Знакомое гнездо под кустом выворочено, в нем пусто.

– Смиреха! Смиреха! – говорю я с тоской. – Что ты наделал! Ведь это гнездо того самого соловья, которого мы вчера слушали.

– Не! – весело откликается Смирька. – Это вон какой птюшки, вон скрипит в кусту!

Серая птичка перепрыгивает невдалеке с ветки на ветку, дергает хвостом и скрипит, скрипит…

Откуда бы знать Смирьке, что прославленный соловей – «петь великий мастеринге» – в тревоге за свое гнездо стонет неприятным, скрипучим голосом? И что могло помешать ему разорить гнездо этой невзрачной «пташки», когда кругом все ребята, да и отцы их при случае, походя, разоряют все попавшиеся на глаза птичьи гнезда?

Больше мы со Смирькой не слышали нашего замечательного певца: соловей покинул заросли.

Оливковое яичко я выдул.

---

[1] Одно из колен соловьиной песни: сильный, резкий свист.

Никогда из него не родится крылатое существо с чудесным даром песен.

Розовое перестало существовать, но оливковое не рассыпалось в прах. Об этом позаботился я, поместив его в свою коллекцию.

Теперь я думал: не повезу своей коллекции в город, отдам ее в сельскую школу, в ту самую, куда пойдет этой осенью Смирька со своими товарищами.

Может быть, хоть соловьиные гнезда они перестанут разорять?

Дочери.
15/VI 1940 г.

Черноголовка

В саду совхоза – там, где упал давно сгнивший забор и старинный помещичий сад соединился с диким лесом, – в густых елушках пела тоненькая черноголовая птичка.

Старик любил послушать ее песню.

Он жил в заново отремонтированном и выкрашенном в ярко-красный цвет домике, в самом отдаленном углу сада.

Вечерами садился старик на крыльце, задумчиво посасывая трубку, – и закрывал глаза. Из дому выходил кот – упитанный черный мурлыка – и садился рядом с хозяином. Так сидели они молча, – и в елушках начинала петь веселая маленькая Черноголовка.

Вернее, – кончала. Начинала петь Черноголовка с самого раннего утра, едва стряхнув с себя ночную дрему. И пела весь день до захода. Пела, весело разыскивая маленьких червячков-гусениц для подруги: подруга ее сидела в гнезде, терпеливо высиживала птенцов. Пела, деловито перепархивая с дерева на дерево. Пела, прыгая по земле или усевшись отдохнуть на минутку на ветке.

Но днем старик ее песен не слышал: ведь утром и днем так много разных голосов, криков и шумов в саду и в лесу, а у Черноголовки не такая уж сильная песня. Да и думал старик о другом с утра. Каждое утро он брал плоский ящик, шел на берег озера и садился писать акварельные этюды. Старик был художник. Он постигал мир глазами. И, погруженный в свою работу, переставал слышать звуки.

А вечером работа кончалась. Надо было дать отдых натруженным глазам. Старик закрывал их – и ему тогда становилась слышна песня веселой Черноголовки.

У Черноголовки всего и была одна песенка. Но пела она ее часто, иногда меняя в ней некоторые ноты. Голос Черноголовки был чистый, звучный и напоминал маленькую флейту. Он то выводил нежную, замирающую к концу мелодию, то прищелкивал и трещал по-дроздиному, то шаловливо передразнивал голоса других птиц.

От этой песенки старику становилось хорошо на душе, немножко грустно и как-то особенно уютно.

Старик всю жизнь прожил один, и уюта ему больше всего не хватало в жизни.

Раз, когда он сидел так, вслушиваясь в звуки невидимой маленькой флейты, товарищ его – старый черный кот – бесшумно соскочил с крыльца, перебежал дворик и исчез в кустах.

Старик ничего не заметил. Закрыв глаза, он тихонько посапывал трубкой. Он думал, что его черный друг, как всегда, сидит с ним рядом.

Вдруг песня оборвалась жалким писком.

Старик открыл глаза, вынул трубку изо рта, с тревогой повернул ухо к елушкам.

Прошла минута, другая, третья. Нет, Черноголовка не пела больше.

Начинало темнеть. Ни шороха не доносилось из сада.

Вдруг черная хвостатая тень скачками бесшумно пронеслась от кустов к избе. Старик успел различить кота и в зубах у него – маленькую растерзанную птичку.

Старик сердито засопел трубкой. Он вдруг почувствовал себя совсем одиноким в диком, заброшенном саду.

До полной темноты сидел он на крылечке, молчаливый и расстроенный.

И ночью, когда лег в постель и кот, по обыкновению, вспрыгнул к нему на кровать, старик спихнул его ногой на пол и сказал:

– Ты зверь. У тебя нет сердца.

Потом подумал, вылез кряхтя из постели и привязал кота на веревку к ножке кровати.

* * *

Утром, как всегда, старик взял ящик с красками и побрел на берег озера.

Но не спешил приступать к работе. Раскурил трубку. Поглядывал, щурясь на оранжевый песок берега, на зеленую воду, на трепетно отраженные в зеркале воды серебристо-голубые стволы больших осин на острове.

Блаженное спокойствие, так грубо нарушенное вчера смертью любимой птички, возвращалось медленно. Хотелось, чтобы хоть тут все было без изменений, привычно.

Из-за острова плавно выдвинулась узкая лодочка. На корме ее высилась тонкая девичья фигура с веслом в руках.

«Вот и Гондольер Молодой», – удовлетворенно подумал старик.

Так он мысленно назвал незнакомку, каждое утро проплывавшую мимо него в лодке. Он знал только, что она из партии не то геологов, не то зоологов, стоявшей лагерем по другую сторону озера.

В нескольких местах среди воды на ровных расстояниях друг от друга возвышались группы кустов. Как клумбы. Незнакомка по очереди подъезжала к каждой из них и раздвигала ветви тонкими руками. Потом отъезжала от «клумбы», записывала что-то в книжечку, все стоя на корме, – и направляла лодку к следующей.

Проезжая мимо художника, она всегда приветливо, но односложно здоровалась с ним. Старик молча кивал в ответ, – и видение беззвучно скользило мимо.

Ему нравилось такое уважение к его труду, обычно вызывающему назойливое любопытство случайных свидетелей. Нравилась серая клетчатая блузка и юбка, узко перехваченная в талии красным кушаком. Нравилась ладная фигурка, худое личико, гладко причесанные на прямой пробор невьющиеся черные волосы.

Даже влюбленный затруднился бы сразу ответить, красива ли она. В ней не было ничего бросающегося в глаза. Но опытным глазом художника старик с первой же встречи понял в ней безошибочную соразмерность всех частей тела и черт лица, как раз то, что делает человека спокойно прекрасным в полной гармонии со всем окружающим его в природе.

Недаром эта ладная фигурка вне плана и заданий сама собой вошла во многие последние его этюды.

Вне плана и заданий и даже вопреки им, – потому что художник писал этюды для задуманной им большой картины: «Без человека».

Картина первозданной природы: томный полдень склоняющегося к осени лета, величавый покой матери-земли, покой воды, покой плодоносящих деревьев и высоких, сильных трав. Полуденное перемирие в извечной войне животных: птицы со сложенными крыльями, сонно греющийся на солнцепеке чуткий речной зверь – выдра.

Ни нервов, ни суеты сумасшедшей лихорадки машины времени, пущенной человеком на предельные скорости.

Лодка подплывала. Незнакомка, бесшумно погружая весло в воду, упругими толчками двигала вперед легкое суденышко.

Почти поравнявшись с художником, встретила его внимательный взгляд, молча и серьезно улыбнулась и негромко сказала:

– Здравствуйте.

– Здравствуйте, – произнес и старик, забыв кивнуть головой в знак приветствия. – Зачем это вы каждый день объезжаете кусты?

Точно кистью мазнул: лицо незнакомки мгновенно вспыхнуло. («Почти один цвет с кушаком», – отметил про себя художник.)

Упершись веслом в близкое дно, незнакомка резко остановила плавный бег лодки.

– Мы расставили на озере искусственные дупла. Я проверяю, как в них несутся нырковые утки.

Старик удивленно распустил бесчисленные складочки вокруг глаз.

– Дикие утки?

– Да: крохаля, гоголя, хохлатые чернети. Две кладки мы берем, третью оставляем.

– Значит, диких птиц заставляете нестись для себя, как этих… кур?

– Как домашних. Делаем опыт. Пока удачно.

Она улыбнулась, как показалось художнику, неприятно-самонадеянно, почти хищно.

Он пожал плечами.

– Странное занятие!

Она уже насмелилась было что-то в свою очередь спросить, но вдруг осеклась. Старик не желал скрывать своего презрения.

Сказала только:

– Доброй работы! – и опять вся вспыхнула.

И, только отъехав уже довольно далеко, прокричала рывками:

– Очень! Люблю! Ваши! Картины! – и поспешно заработала веслом.

– Много ты в них понимаешь! – сердито проворчал старик. – Ленинградская, видно. Откуда меня знает?

Он отложил кисти. Сидел прямой и строгий, устремив невидящий взгляд поверх воды.

– Доярка! Луну – и ту выдоить хотели бы. И жалости никакой.

Легкая стайка пестрых куличков-камнешарок промелькнула над водой и рассыпалась по берегу. Глаза художника осветились радостью: он знал этих птиц и любил.

Кулички разбежались, и каждый, покланявшись всем тельцем на тоненьких ножках, стал суетливо осматривать каждую щепочку, каждый камешек на песке. Шарили носом, что-то выхватывали оттуда и быстро, незаметно проглатывали.

Один подбежал совсем близко, – старик не двигался, чтобы не спугнуть робких птичек. Куличок сунул голову под слегка приподнятый серый пласт высохшей тины. Протиснулся под него весь. Видимо, старался приподнять край.

Но пласт был велик и тяжел для него.

Куличок вынырнул наружу, отряхнулся и несколько раз тоненько свистнул.

Сейчас же со всех сторон к нему подбежали, мелко семеня ножками, товарищи; дальние подлетели.

Куличок опять нырнул под пласт – и все его товарищи за ним.

Поддавшись их дружному напору, пласт поднялся. Край его обломился, и кусок зеленой сысподу тины опрокинулся на песок.

Кулички сейчас же осыпали его и быстро-быстро заработали носами: тыкались ими в сырую, мягкую подушку тины, собирая обильную поживу.

Широко улыбнулся старик.

– Ах вы молодцы! Ах вы… смешные человечки!

Когда камнешарки улетели, он с жаром принялся за работу.

* * *

Вечером вышел на крылечко с томиком давно знакомых стихов.

Сел, закрыл глаза.

Но чего-то не хватало.

– Котофей где же? Ах, да!..

Вспомнил, что днем сам просил унести кота.

Тишина была неприятна: маленькая песня Черноголовки не наполняла ее уютом.

Попробовал думать о другом, – нет, мысли возвращались к погибшей птичке. От нее вели к думам о себе.

– Странно все-таки. Ведь лет поди с четырнадцати не слыхал Черноголовки, а сразу узнал ее песню. Впадаю в детство: близкое забывается, давнее свежеет в памяти.

Одна за другой вставали картины прожитого.

Глухой провинциальный городок, кудрявые яблочные сады за деревянными заборами. А кругом – темной стеной таинственный лес. Старики говорили: «семь верст до небес и все лесом». А вширь он «до края света».

Лес, населенный страшными зверями, легкокрылыми птицами.

Зеленое царство Бабы-яги, леших, водяных, кикимор, шишиг – всякой нечисти. Страшный, но непреодолимо манящий.

Гимназистиком в серой блузе, в штанах из чертовой кожи, опоясанный ремнем с прямоугольной желтой пряжкой, увлекся собиранием птичьих яиц. Сколько даром загубил прекрасных жизней!

Жадные детские глаза пленились маленькими живописными чудами – яичками певчих птиц. Хрупкие живые самоцветы, совершенные по форме, теплейших цветов и оттенков.

Старался сохранить для себя эту красоту: «остановись, мгновенье, – ты прекрасно!»

Глупая затея: чтобы сохранить яйца, приходилось их выдувать, а от этого они теряли свою неуловимую живую прелесть. Оставались скорлупки – холодные, мертвые.

Зимой часто открывал заветные коробки – полюбоваться своим тонким богатством. И всегда щемило сердце: не то! Нет, не то!

Неужели, чтобы сохранить прекрасное, надо убить в нем душу – жизнь?

Собирал, сушил цветы. Мертвый гербарий раздражал еще хуже.

Живопись разрешала мучительный вопрос: не убивая, переносила живую душу в краски, создавала образы красоты.

Академия художеств. Величаво-прекрасный, но холодный, запертый на все свои бесчисленные замки и запоры, двери и ворота царский город.

Калейдоскоп заграничных впечатлений. Рим, синее море Неаполя, гондолы и дворцы Венеции.

Париж. Чердачная жизнь Латинского квартала, богема, кабачки Монмартра – все как страницы переведенной с чужого языка, давно прочитанной книги.

Но везде и всюду одно: безумная охота за неуловимым. И везде перед глазами – дикий родной лес, так не похожий на леса и парки Европы. И населяющие его таинственные существа без души, без обличья – родные братья тех, что в парках дивно воплощены в прекрасных статуях.

Пришел отказ от кабаков и богемы, настала жизнь отшельника-аскета. Росло искусство. Но все то же разочарование повторялось: пока пишешь картину, видишь как бы живое яйцо – краски, согретые душой и страстью. Кончен труд – и померкли краски: не удалось им передать самого главного, всегда неуловимого. Осталась холодная, мертвая скорлупа.

Куда же девается священный пыл творческого порыва? Вытекает, умирает, как живое содержимое яйца?

Нет, так не может быть! И растущий мастер понял: теперь он пьет содержимое яйца, – питательный источник жизни не пропадает, не всасывается в бесплодную землю. Пусть его картины – только мертвые скорлупки. От картины к картине он становится искусней, краски начинают оживать – скорлупа наполняется таинственной жизнью.

И вдруг опять все исчезало.

Пришел день: изнеможенный голодом и непосильным трудом, он швырнул кисть в угол и бросился на кровать. А утром взглянул на картину холодными глазами отрекшегося, сам поражен был тем, что сделал: краски жили, неуловимое воплотилось.

Признание пришло скоро. Писал он все то же: таинственные недра уходящего «до края света» родного леса, лесную сказочную нечисть родного народа, – мечту свою. И его детства мечта вдруг оказалась необходимой чужим людям европейских городов – людям, никогда не видавшим таких лесов.

Пришла слава.

Пожар войны и встречный огонь революции – там, на далекой родине. Но блестящие парижские салоны держали крепко. Туманилась голова.

Вернулся, когда жизнь на родине была перемолота. Стариком. На готовое.

Приняли. Устроили выставки. Называли непревзойденным мастером. Но ждали от него еще чего-то.

Большие годы сказались: устал. Покоя хотелось, покоя прежде всего.

Поехал в родной городишко: отдохнуть, подумать, может быть, начать сначала.

По-прежнему, привычно работать не удавалось и здесь.

Давно истлела коллекция птичьих яиц на пыльном чердаке. Врос в землю родной домишко.

Загородный совхоз заново отремонтировал и выкрасил по указаниям почетного гостя домик в запущенном саду.

Но казавшееся таким желанным одиночество мешает работать. И как это не успел обзавестись семьей за всю долгую жизнь? Могли бы уж быть внуки. Или хоть маленькая дочь: нежный мостик в новую жизнь. Теплая забота о ней.

Теперь уже поздно.

Что же черноголовка-то сегодня молчит?

Ах, да!..

* * *

Выходя из дому на следующее утро, старик в первый раз не взял своего ящика.

Он направился в темный угол сада, прямо к частым густым елушкам, и стал осторожно раздвигать их руками.

Скоро он нашел то, что искал: легкое гнездышко, сплетенное из тонких еловых веточек, скрепленных липкими серыми комочками паутины. Паутинки были верный признак, что это – гнездо славки-черноголовки; другие птицы не терпят в своем гнезде паутины, а эта нарочно кладет.

Птенцы уже вывелись. Они были одни и лежали беспомощно голыми комочками, плотно прижавшись друг к другу.

Старик отошел от гнезда, спрятался за темную ель и стал ждать.

Неожиданно из елушек вынырнула черноголовка-мать. Услышав ее приближение, сейчас же встрепенулись птенчики. Их толстые слепые головы поднялись на красных, как червячки, шейках, раскрылись большие желтые рты – и послышался слабый писк.

Черноголовка торопливо сунула мягкую гусеничку в первый попавшийся рот и сейчас же полетела искать другую.

Долго стоял старик за елкой и смотрел на гнездо. Черноголовка прилетала несколько раз и каждый раз – с кормом. И всякий раз при ее приближении из гнезда поднимались толстые слепые головки, разевали жадные рты – и слышался голодный писк. Скормив гусеницу, чистоплотная птичка подхватывала жидковатый белый комочек, выпущенный одним из птенцов, торопливо уносила его прочь от гнезда.

– Трудно же тебе одной, мать, – задумчиво сказал старик. – Всех накорми, за каждым прибери.

* * *

У старика в привычку вошло ежедневно утром и вечером наведываться к гнезду.

Он хорошо заметил, что Черноголовка никогда не может досыта накормить своих птенцов. Каждый раз они встречали ее голодным писком и успокаивались только вечером, когда мать садилась в гнездо сама, обнимала приспущенными крыльями, теплым своим тельцем. Конечно, они засыпали голодными.

В гнезде их было пятеро, – четыре сильных и один слабенький. Сильные выше тянули головки, они первыми встречали подлетающую с кормом мать, оттирали от нее слабого.

Они быстро росли и крепли, им доставалось больше пищи, потому что Черноголовка в спешке всегда совала корм в первый подвернувшийся клювик.

А слабый птенчик хирел с каждым днем. Он шевелился все меньше и слабее, пищал все тише – и однажды на глазах у старика уронил голову, затих совсем.

Стоя за елью, старик смотрел, что будет делать мать.

Подлетев к гнезду, Черноголовка сразу заметила, что один из ее птенчиков не поднимает навстречу ей головку, не пищит, не просит есть. Тут в первый раз она забыла сунуть гусеничку детям: сама проглотила ее. Потом быстро схватила мертвого птенца в лапки, полетела с ним в кусты и там бросила.

И сейчас же снова помчалась искать корм для других, для живых своих птенчиков.

* * *

Старик совсем забросил краски. Целый вечер он потратил на шитье мешка из тряпки, прилаживал его к палке. И весь следующий день ходил, махал этим сачком по траве и кустам, что-то вынимал из него и складывал в большую картонную коробку.

Утром – еще солнце не взошло – старик неуклюже подкрался с тряпочным своим сачком к елушкам – и накрыл им гнездо вместе с птенцами и их матерью. Так в сачке и понес домой.

Выпущенная в комнате Черноголовка в первую минуту испуганно метнулась в самый темный уголок. Потом вдруг стремительно кинулась оттуда в окошко, стукнулась о стекло и, ошеломленная ударом, упала на подоконник.

Старик, между тем, осторожно выпростал из мешка гнездо с птенцами, положил его на стол. И птенцы, молчавшие в темном и тряском мешке, запищали, полезли из гнезда – вот-вот выпадут.

Услыхав их, Черноголовка сразу встрепенулась. Вспорхнула, залетала по комнате: скорей найти корм и заткнуть им голодные рты детей.

Старик глядел на нее и улыбался: он приготовил птице-матери хороший сюрприз.

Черноголовка без труда нашла то, что ей было надо: рядом с гнездом на столе стояла большая картонная коробка, полная зеленых, коричневых, серых гусениц.

– Получай, мать, – сказал старик. – Теперь сыты будут.

Он взял ящик с красками, вышел и плотно притворил за собой дверь.

* * *

Но не работалось старику и в этот день: мешали мысли. И писать хотелось уж не пейзажи, а тоненькую, теплую, подвижную птичку, всю серую, с черно-бурой головкой. Все думал о том, как осчастливил он ее и четырех ее беспомощных птенчиков, наверно, без него обреченных

на голодную смерть. И с умилением почувствовал, как ширится, стучит в груди его сердце – доброе, любвеобильное человеческое сердце.

Не терпелось поделиться с кем-нибудь своей радостью.

И когда подплыла незнакомка, он первый ее приветствовал и сказал:

– А я, знаете, взял себе на воспитание птенцов.

Незнакомка остановила лодку.

– Каких?

– Славки-черноголовки.

– О, это нежная птичка. Большой уход нужен. Есть ли у вас все необходимое? Муравьиные куколки, деревянный пинцетик? Я сегодня же все привезу вам сюда, можно?

Старик видел, что ей хочется сделать ему приятное, и подумал: «Отзывчивая все-таки».

– Благодарю, – сказал он. – У меня птенчиков их мать кормит. Никаких пинцетов не надо.

– Мать? Как же это вы… – начала незнакомка, но, спохватившись, что вопрос может показаться назойливым, перебила сама себя: – Впрочем, муравьиные-то куколки все равно нужны. Не добывать же их вам самому. Я привезу.

– Ну, спасибо. Привезите. Пока корм у меня есть.

– Сейчас привезу. У нас много.

Тепло на этот раз простился с незнакомкой художник. После полудня сложил свой ящик и, торопливо шагая, направился к дому.

* * *

Он подошел к окошку и стал глядеть через стекло.

В гнезде был один только птенчик. Черноголовка сидела на краю гнезда с гусеничкой в клюве, но птенчик не тянулся к ней, не разевал желтого рта, не пищал. Из клюва у него торчал кончик недоеденной гусеницы. Птенчик спал.

И черноголовка-мать, сидя около него, вдруг проглотила принесенную ему гусеницу. Как тогда, в елушках, когда затих первый птенчик.

Старик взошел на крыльцо и открыл дверь.

Мимо него, весело цвирикнув, пролетела из избы Черноголовка, скрылась за деревьями. Старик поспешно вошел в дом.

Там он увидел пустое гнездо и всех четверых птенчиков – на полу. У каждого из них торчал из клюва кончик недоеденной гусеницы.

Старик схватился за сердце.

* * *

В дверь постучали.

– Войдите, – сказал он тихо.

С коробкой в руках вошла незнакомка.

Старик молча показал ей на птенцов. Она подошла, собрала их всех – маленьких, мертвых, с выпяченными голыми животиками – к себе на ладонь. Подержала и задумчиво положила в гнездо.

– Все понятно, – сказала она, помолчав. – Черноголовка перекормила птенцов. Они были так сыты, что и не шевелились. А какой же это птенчик, если он не тянется навстречу матери, не пищит, не просит есть? Птичка и приняла их за мертвых.

Старик растерянно слушал.

– С этими чудаками строго надо. По расписанию. – Незнакомка сдвинула черные брови. Но вдруг не выдержала, вся осветилась доброй улыбкой. – Как с грудными.

«Она знает, – думал художник. – Она вошла в их жизнь, понимает их. Это не то, что… писать их красками».

Он чувствовал себя побежденным и даже в чем-то виноватым перед ней. А она продолжала:

– Я с ними много возилась, умею с ними. А знаете – почему? – спросила с какой-то детской резвостью, вскинув голову и устремив на художника сияющий взгляд. – Потому что вы научили меня любить их. С детства знаю ваши картины. Такой у вас всегда лес замечательный: таинственный, одухотворенный. И птицы, и звери, и чертенятки разные. Я еще маленькой оторваться не могла. А потом мечтаю: «Вырасту большая, буду в лесу жить, буду всем им, смешным, мать». Вот и пошла на биофак. – И неожиданно робко попросила: – Покажите мне, что вы там на озере писали?

Ожил вдруг старик. Засуетился.

– Я сейчас… Я с большим удовольствием вам.

И они подружились.

* * *

Так вместо картины «Без человека» написал старый прославленный мастер-пейзажист свой первый замечательный портрет.

Ночной зверь

Ночную тайну разрушит слово.
А. Блок

Мы возвращались с охоты. Солнце уже зашло, в лесу быстро темнело, но на открытом месте еще можно было стрелять. И когда мы вышли в поле, я спустил Заливая со сворки.

Чем черт не шутит! Зайцы все сейчас в поле, – может быть, успеем взять еще одного по дороге.

И действительно: не успели мы с Василием Алексеевичем пройти и ста шагов, как чутьистая гончая натекла на след, дала голос и погнала.

Мы разошлись занимать места. Василий Алексеевич отошел вправо – к опушке леса, а я взобрался на жальник – небольшой, кругом ровный холмик слева при дороге. Тут был верный лаз: откуда бы заяц ни пошел, ему не миновать этого узкого места между двумя мысками.

Поместившись у небольшого кустика, я снял ружье с плеча и осмотрелся.

Небо было чисто, полная луна «щитом краснеющим героя» только еще вставала над лесом. Под ней блестели от росы зеленя. Начало октябрьской ночи было торжественно и прекрасно.

Гон между тем ушел далеко – километра за два в поля, к самой дороге.

Там лаял пес, но где сейчас русак?

В том, что это русак, у меня сомнений не было: беляк не дал бы такого большого круга, он сразу норовит уйти в лес.

Русак сгоряча мог далеко опередить гончую и быть уже поблизости.

Наспех затянувшись еще два раза, я бросил папиросу, придавил ее ногой и передвинул предохранитель ружья на «огонь».

Страстный баритон Заливая взбудоражил деревенских шавок. Они залились визгливым лаем. За ними дряхлым басом забрехал старый колхозный пес Сингал.

Сумерки наполнились неистовым многоголосым лаем. Но ненадолго. Неожиданно Заливай смолк. Не слыша его, замолчали понемногу шавки и Сингал. Наступила полная тишина.

Особенность охоты с гончей та, что здесь человек стоит на месте и, прислушиваясь к голосу собаки, силой своего воображения участвует во всех страстных перипетиях смертной погони одного зверя за другим. Самый момент участия человека в охоте короток и часто неинтересен: если лаз выбран правильно, уходящий от погони зверь наткнется на стрелка почти вплотную, и прекратить навсегда его бег нетрудно.

Заливай смолк – значит, скололся: потерял на бегу след. Делает сейчас круг, чтобы опять схватить чутьем запах, оставленный потными от страха и быстрого бега лапами зайца.

А заяц в это время продолжает бег. Он не доверяет внезапно наступившей тишине. До сих пор преследователь выдавал себя кровожадным лаем. Молчащий теперь, он может внезапно появиться рядом.

Заяц делает широкую дугу по ему лишь одному известному кругу. Внутри этого круга он родился, тут он жирует ночами и дремлет днем, тут он любит, дерется с соперниками, спасается от врагов. Только смерть может заставить его выйти из этого круга.

А может быть и так: далеко опередив гончую, заяц сел. Пошевелил над головой ушами.

Тишина.

Тогда заяц поднялся, пробежал вперед до опушки и дальше в лес. Потом вернулся по своему следу, вдруг скинулся с него широким прыжком в сторону и залег на опушке – головой в поле. Прижался к земле.

Тогда я напрасно жду его сейчас сюда: он дождется, пока гончая опять даст голос и промчится мимо него по его собственному следу в лес. Тут он вскочит и махнет в поля.

Передышка, значит, и мне. Можно не напрягаться.

И сознание мое раздвоилось: дежурная часть мозга оставалась начеку, глаза сторожили, – не мелькнет ли где быстрая качающаяся тень? И в то же время я мог думать о другом и чутко, всей душой отзываться на очарование все ближе надвигающейся ночи; взбудораженная охотничьей страстью душа была напряжена до звона.

Волшебная картина была у меня перед глазами: мрачно темнел уже весь облетевший лес, а рядом свежо и радостно блестели молодые всходы. Какая сказочная встреча весны с глубокой осенью!

Да и все кругом, казалось, жило в сказке: все кусты и деревья, и древние – со дна ледникового моря – камни, кой-где угрюмо сутулившиеся в поле. Колдовской свет луны наполнял светлую ночь тайнами, ворожил, тревожил – вызывал призраки.

Я вдруг вспомнил, что стою на жальнике. И одного этого мысленно произнесенного слова было достаточно, чтобы призраки ночи воплотились у меня перед глазами.

Жальник – ведь это от слова «жаль», «жалиться». «От жали не плакать стать», – говорили древние новгородцы, насыпали на буйвищах, над могилами погибших своих воинов, земляные холмы и называли их «жальниками».

И, вглядываясь в лунные сумерки, я уже различал в их переменчивых, неверных тенях воинов в шишаках с мечами, копьями и щитами. Беззвучно совершалась предо мною лютая рукопашная битва, сверкало немое оружие, падали богатыри.

Да, было время… Умели наши предки хоронить своих прославленных воинов.

Но легкое облачко скользнуло по светлому лику луны. И когда сошло, предо мной снова были только веселые зеленя, подо мной – небольшой, кругом ровный холмик.

Я сразу вспомнил про Заливая и подумал: что-то очень уж долго длится перемолчка!

Интересно, что испытывает сейчас русак?

Но сказочная ночь властно требовала необычайного, и мысль моя легко перескочила с русака на меня самого: а вдруг и меня разыскивает по следу какой-нибудь страшный зверь с горящими глазами и выбегающими из кровавой пасти клыками?

Какой-нибудь там вроде ископаемого громадного пещерного медведя.

Будь я мальчиком, я бы, наверно, вздрогнул от такой мысли и мне захотелось бы очень быстро обернуться. Но я только грустно улыбнулся.

За полями зажегся огонек: там собиралась ложиться спать мирная, давно забывшая ночные страхи колхозная деревня.

Самый большой и страшный хищный зверь, на встречу с которым я мог рассчитывать здесь, была лисичка.

Последний маленький медведь-овсяник был убит здесь пять лет тому назад, а о волках уже десятки лет и помину нет.

Даже смешно стало.

Вот стоим мы с Василием Алексеевичем, опытные охотники, напрягаем слух и зрение: ждем на лазу зверя.

А зверь этот – зайчик.

А ведь нам с Василием Алексеевичем вместе-то, пожалуй, сотня лет. Он – известный охотовед, старый зверятник. Да и я на своем веку побывал и в тайге, и в тундре – повидал зверя.

Мы оба изучали зоологию, для нас больше уже не может быть удивительных неожиданностей в этих исследованных, давно обжитых человеком местах. Как далеки мы от дней нашего детства, когда любой лесок за околицей был населен для нас всевозможными чудами: зверями, которых мы не умели назвать, и – на равных с ними правах – лешими, русалками, кикиморами и другой нежитью. Сказка потеряла всю свою силу над нами, потеряла обаяние тайны: каждое

животное здесь мы знаем по имени, отчеству, фамилии, а с именем – и всю его жизнь – «биологию».

Я вздрогнул: из лесу слева от меня донесся короткий, глухой и хриплый крик. Так мог бы вскрикнуть древний, вросший в землю и весь покрытый мхом камень, если бы вдруг обрел голос. И вместе с тем я не сомневался, что это крик зверя. Только вот этого зверя я не мог назвать по имени.

Я с любопытством вслушивался в тишину: сейчас, наверно, крик повторится, и тогда я пойму, узнаю, чей он.

Но вместо звериного крика раздался вдруг там же – недалеко, слева от меня – неистовый лай Заливая.

Пес лаял часто, заливисто, то и дело сдваивая голос.

По зайцу гончая так никогда не вопит, по зайцу она брешет.

В сумке у меня были две разрывные пули: старая таежная привычка – на всякий случай всегда иметь пули с собой на охоте. Но было ясно, что я не успею достать их, вынуть из ружья дробовые патроны и заложить в стволы пули: так близко от меня был Заливай, а зверь должен был находиться еще ближе.

Приподняв двустволку, я не отрывал глаз от темной стены леса.

Вдруг из опушки выметнулся зверь ростом с волка.

Я приложился… И опустил ружье.

Это был Заливай.

Он смолк, метнулся по полю в одну сторону, потом в другую. Подбежал под самый жальник, поднял голову и на миг уставился на меня. Но сейчас же тявкнул, уверенно взял след и помчался вправо от меня – через дорогу.

Еще минутку мелькали в сутеми его белые чулки и – исчезли.

Он пошел прямо на опушку, где стоял Василий Алексеевич, и я невольно задержал дыхание: вот раздастся выстрел.

Но лай Заливая удалялся, а выстрела не было.

Я выпустил распиравший грудь воздух.

Признаюсь: чувствовал я себя не совсем уютно.

Поведение гончей было совершенно недвусмысленно: Заливай шел по следу; он прошел под самым жальником – у меня под ногами; значит, до него прошел у меня под ногами и зверь.

Тот зверь, которого я не мог назвать.

Прошел, как привидение: беззвучно, невидимо.

Но если я его не видел и не слышал, то он-то не мог меня не видеть: ведь я стоял на холме и снизу был, конечно, очень заметен на ясном небе. Да и чутье должно было его предупредить о присутствии человека: ночной ветерок тянул как раз справа от меня к той опушке, откуда он вышел.

Какой зверь мог пройти в двадцати шагах от меня, оставшись незамеченным? И даже не зашуршать когтями по опавшей листве на опушке!

Василий Алексеевич тоже не выстрелил, – значит, зверь и у него прошел невидимкой.

Голос Заливая потерялся уже в глубине леса.

Я вдруг почувствовал, что ночь холодная, а мне очень жарко.

Так или иначе, дело было кончено: зверь прошел и уж, конечно, сюда не вернется.

Я опустил предохранитель и повесил ружье на плечо. Закуривая на ходу, спустился с жальника.

С Василием Алексеевичем мы сошлись на дороге.

– Видели? – спросил он.

– В том-то и дело, что нет.

– Я видел. Крупный зверь. Как из-под земли вырос. На широких махах подошел к опушке и стал за кустами. Близко. Голову держит высоко.

– Да кто же?

– Не знаю. Невозможно было разглядеть.

– Осечка?

– Нет; просто не стрелял.

– Вот тоже!..

– А вы попробуйте в такого – заячьей-то дробью!

– Ну и что же?

– Ну, потом сдвинулся и разом пропал за деревьями. Как сгинул. Шорох, правда, был. И два раза хрустнуло в лесу. Похоже, не он, а от него кто-нибудь бежал в разные стороны.

Василий Алексеевич замолчал. Тут только я сообразил, что оба мы все время зачем-то говорили шепотом.

Шагая по дороге, я совсем другими глазами всматривался в ночь, чем тогда, вначале, на жальнике. Нет, черт возьми, годы тут ни при чем. Луна свое взяла.

Подмораживало. Лунная мгла опустилась и остекленела. Заливая не было слышно.

Великое бессловесное – земля, лес, небо – давило меня своей непонятной немотой. Наверно, и Василия Алексеевича тоже. Но мы молчали: может быть, оба не решались начать разговора, в котором не хватало у нас главного слова.

Я думал про одно: как это я не увидел, а Василий Алексеевич видел, да не знает – кого?

К деревне мы подходили уже в полной ночной темноте: луну заволокло большой тучей.

Тут нас догнал Заливай.

Он подошел ко мне, остановился и как-то по-особенному, натужно тявкнул.

Уж не силился ли он вымолвить слово? Он-то ведь видел и знал.

Я положил ему руку на спину и почувствовал, как тяжело вздымаются его бока.

Спина была мокрая.

Заподозрив неладное, я достал спичку, осветил свою руку.

Она была в крови.

Василий Алексеевич осмотрел, ощупал Заливая.

– Радуйтесь, что собаку не потеряли, – сказал он хмуро. – Пустяками отделался – царапина.

Я подумал: «У нашего невидимки совсем не призрачные когти и зубы!»

За гумном горел костер. Я с удивлением увидел около него лохматого Сингала и колхозного пастуха – старика Митрея.

Сверху на костер надвинулась тьма. Старик сидел, как в шалаше.

– Что ты тут делаешь, дед?

– Да, вишь, овечку свежевать дали. Зверь утресь задрал, туды его когти! От силы прогнали.

Мы с Василием Алексеевичем переглянулись.

– Медведь?

– Волк?

– Да нет, какие тут волки-медведи!

И вот дед сказал слово, которого нам так недоставало:

– Рысь.

Как свет включил: мгновенно объяснил все наши переживания этой ночи.

Заливай бросил след русака, напав на рысий след.

Рысь царапнула его в схватке. Потом, спрятав страшные свои когти в бархатные лапы, бесшумно и незаметно проползла мимо меня под жальником. Так бесшумно и незаметно, как могут красться одни только кошки.

Василий Алексеевич не мог признать ее за кустами в лунной мгле: рысь в этих местах – зверь проходной, совершенно случайный; нам и в голову не приходило, что можем с ней встретиться.

Я переживал сказку, думая о происхождении слова «жальник». Но если б я вспомнил короткое слово «рысь», это заставило бы меня иначе смотреть перед собой. Я бы искал глазами не качающуюся тень скачущего зайца, а стелющуюся, переливающуюся тень ползущей, крадущейся кошки.

И это коротко рычащее слово очень легко тогда могло бы превратиться в пушистую рыжую шкуру.

Чайки на взморье

Когда станешь взрослым,
не презирай мечты твоей юности.
Испанская поговорка

Рано утром, когда в дачном поселке все еще спали, на берег моря вышел человек с седеющими висками, с глубокими, но сияющими, как у ребенка, глазами. Широкополая шляпа едва ли могла бы удержаться на его непокорных волосах, если бы дул хоть небольшой ветер. Но был штиль.

Когда-то в детстве этот человек провел одно лето здесь – на взморье. Теперь он приехал издалека: ему пришла фантазия вновь посетить это памятное ему место.

Все изменилось тут. Где были сосны да жалкие лачуги рыбаков, теперь рядами стояли нарядные дачи горожан, цвели сады. Лишь руководствуясь очертаниями берега, мог он узнать места, где купался, ловил пескарей, колюшек, играл с товарищами.

Да и его вся жизнь изменилась с тех пор до неузнаваемости. Чем он был тогда? Одиноким, обиженным судьбой мальчиком. А теперь?..

Но море – море осталось тем же. Лишь отмели на нем несколько переместились. И так же над ним летали белые чайки.

Чайки кричали.

Человек прислонился спиной к столбу, сложил на груди руки, закрыл глаза.

Чайки кричали.

Призрачный сон воспоминаний охватил человека…

Недалеко от берега на песчаной отмели стояли чайки. Белоперые свои тела держали горизонтально, – точно плыли, но шеи вытянули вверх, клювы повернули все в одну сторону: туда, где, расширяясь, исчезают берега залива, где открывается безбрежное море.

На них, не отрываясь, смотрел мальчик. Он лежал на берегу под сосной, у небольшого обрывчика. Вихрастую голову положил на руку. Его задумчивые глаза были глубоки, темны – и казалось, удивляются всему, что видят перед собой.

Когда лежишь так и смотришь вдаль, мир кажется разрезанным пополам на плоское и выпуклое; и все в нем становится как-то необыкновенно и удивительно.

Мальчик сам не знал, почему его взгляд притянули чайки. Потому ли, что пятно их блестящего белого оперения на золоте отмели было очень ярко и красиво? Потому ли, что эти красивые птицы всегда будили в нем неясные мечты, неопределенные желания?

Чайки стояли неподвижно, безмолвно, и в этой неподвижности, в безмолвии и в высоко поднятых тугих шеях птиц была большая серьезность, почти торжественность. Был час полуденной тишины, передышки, и ни одна из птиц не слетала покружиться над зеленой волной, высмотреть в ней рыбку.

Полдень был знойный. Расплавленный воздух струился над берегом, заставляя дрожать все очертания, и утомлял глаза. Маленькие плоские волны мелодично шипели, набегая на песок. Пахло тиной, морской пеной, сырыми пухлыми камышинами, которые выкинуло и оставило на берегу море.

Мальчик оторвал утомленный взгляд от чаек. Глаза его бесцельно стали блуждать по зеленой глади моря.

Шли три серокрылые лайбы. Далеко за ними – на фарватере, – густо дымя, медленно-медленно тащил три продолговатые баржи черный, как водяной жук, буксир. Навстречу ему стремительно несся плоский серый миноносец. Он далеко за собой повесил длинную полосу дыма.

Глаза мальчика разгорелись. С минуту он жадно следил за миноносцем. Потом горько вздохнул и отвел от него взгляд.

Вдруг одна из чаек подняла над спиной узкие с черными концами крылья. Держа их так, сделала два неловких шага к краю отмели и, ударив крыльями по воздуху, поднялась над водой…

Сейчас же все ее подруги повернули к ней головы и закричали резкими, хриплыми голосами – сначала протяжно, под конец – отрывисто, крутыми вскриками.

Никогда не мог мальчик спокойно слышать их громких, пронзительных криков.

Один раз ему все-таки удалось побывать на настоящем морском судне. Да еще на каком – на военном! Волна перехлестывала через катер, на котором подъезжал мальчик, била в высокий стальной борт броненосца, а броненосец даже не покачивался. И низко над волнами и высоко над пушками и мачтами броненосца летали чайки. Уже вернувшись на берег, мальчик все еще слышал их пронзительные крики.

Их крик иногда чудился ему даже в далеком от моря городке. От их крика сосало под ложечкой, хотелось куда-то бежать, хотелось чего-то необыкновенного.

Чайка сделала круг над отмелью и, выправив полет, направилась к чему-то темному, что покачивалось на пологих волнах между отмелью и берегом.

Мальчик вдруг сел. Глаза его расширились от изумления.

Темный предмет то исчезал, то снова показывался, поблескивая углами на солнце.

Мальчик хорошо разглядел его: это был медью по углам окованный сундучок – точь-в-точь такой, в каком рылся на броненосце матрос в кубрике.

Чайка снизилась и, вытянув ноги, аккуратно стала на край сундучка. И сложила крылья.

Опять раздался резкий, нестройный крик с отмели.

Но мальчик уже не слышал его.

Ночной океан в гигантских волнах качает отраженные звезды черных небес.

Океанский пароход от трюма до верхней палубы весь залит ярким светом. Но черное и грозное, с потушенными огнями подходит к нему пиратское судно.

– На абордаж! На абордаж!!.

Перебиты матросы, капитан связан и лежит на полу в своей каюте. Пассажиры поднимают руки под дулами пиратских ружей и револьверов.

По узкому трапу, перекинутому с борта на борт, пираты таскают награбленное добро. Трап скрипит, качается, уходит из-под ног.

Один из грабителей оступился. Вместе со своей тяжелой ношей – обитым медью сундучком – он летит в черный провал между пароходами. Отчаянный крик погибающего. Но в ответ ему гремят лишь проклятья пиратов: им некогда спасать товарища – еще много добра и золота осталось у пассажиров.

Пиратское судно скрылось во тьме.

Капитан развязан. Пассажиры притихли, подавленные страхом и несчастьем. Только один из них все еще бушует.

Это – американский миллиардер. В простом матросском сундучке, чтобы никто не заподозрил, вез он половину своего огромного богатства.

Далеко позади плывет его сундучок.

Он поднимается на хребты гигантских волн, скользит в пропасти между ними. Его не замечают с проходящих вдали судов. Только чайки да альбатросы присаживаются на него отдохнуть, да раз об его медный угол разбилась падавшая обратно в море летучая рыба.

Из океана в океан, из моря в море, – и вот доплыл сундучок. Сейчас его прибьет к берегу.

В нем шуршащие кредитные билеты с бизонами – сто миллионов долларов. В нем алмазы, рубины, легкие жемчужные ожерелья и другие драгоценности.

О находке мальчика напечатают во всех газетах. На эти деньги родина построит много новых первоклассных военных судов. А в награду ему дадут чудную быстроходную яхту с командой – для кругосветного путешествия. На ней будет и скорострельная пушка, канониры и фейерверкер: на случай встречи с пиратами.

Другая чайка, покружив над сундучком, опустилась на него рядом с первой.

Вконец истощенный человек с тяжелым сундучком на спине, шатаясь, пробирался к берегу цветущей страны.

Вокруг него качались на длинных стеблях цветы невиданной красоты. Над ними кружились крошечные птички; их радужное оперение сверкало и переливалось на солнце, в воздухе звенели их нежные песни. Странные звери с задумчивыми и добрыми глазами, прыгая, как лягушки, приближались к человеку и разглядывали со спокойным любопытством.

Человек сорвал один из высоких цветков. Удлиненная чашечка цветка была до краев наполнена сладким цветочным соком. Человек жадно опрокинул его себе в рот. Проглотив влагу, отбросил цветок. Звери подхватили цветок на лету лапками с тонкими, как у детей, пальчиками. Принялись играть цветком.

Солнце стояло над самым горизонтом. Но прошел час, другой, а оно не заходило.

Теперь человек был на горе. Он полз, таща за собой сундучок.

Подполз к самому обрыву – заглянул вниз.

Прямо под ним было море. Но в стороне тянулся узкий берег и на нем виднелись люди.

Они стояли длинным рядом у воды. Все были одинаково одеты в белые малицы до пят. Все одинаково держали по швам руки в длинных рукавах. Все смотрели в море. Над ними летали чайки.

Люди – это спасенье, жизнь!

Человек приподнялся на скале и, собрав все силы, крикнул:

– Йо-го-го-о-о!

Весь длинный ряд людей повернул к нему головы. Но все остались стоять неподвижно.

Человек уронил голову на руки и заплакал. Он понял, что это не люди: птицы – пингвины, пингвины!..

Долго лежал лицом вниз. Потом поднялся на колени, с большим трудом подтянул тяжелый сундучок к самому краю обрыва и столкнул его в море.

Сундучок ушел в воду, всплыл. Отливом его потянуло в море. Чайки полетели провожать его в далекое странствие.

Лихорадочный взор человека следил за ним, пока сундучок не исчез вдали за волнами.

В сундучке – дневник человека и подробное описание, как найти эту вечно цветущую страну. Страну, где птицы живут в ароматных цветах и звери с прекрасными ласковыми глазами подходят к человеку, чтобы пригласить его поиграть с ними в прятки или пятнашки.

Тот, кто сейчас выловит сундучок, отыщет эту никому не известную страну. Он переселит туда всех мальчишек из всех стран. Там будут они играть со зверями, петь с птицами, спать в цветах. А потом построят себе целый флот и будут иногда ездить к своим родителям.

А знаменитый путешественник, который один спасся от кораблекрушения и нашел эту страну, – путешественник как-нибудь прокормится пока цветами и кореньями, а потом может вернуться к себе на родину.

И третья чайка подлетела к сундучку.

Но ей не было места для посадки, и она стала медленно кружить над сундучком.

Сундучок был уже совсем близко от берега. Мальчик ясно видел один из его помятых медных углов, почему-то выше других торчащий из воды.

Мальчика уже била лихорадка нетерпения. Он больше не мог дожидаться, пока медлительные волны выкинут ему чудесный подарок моря. Он уже не мог мечтать: он должен был знать, что несет ему сундучок!

Мальчик прыгнул с обрыва и, обгоняя осыпающийся под ногами песок, побежал вниз, к воде. Встревоженные его бурным появлением обе сидевшие на сундучке чайки поспешно снялись и вместе с третьей полетели в море. Всполошились и их товарки на отмели. Поднялись без крика, всей стаей. И, широко разлетевшись в воздухе, потянули туда, где море теряло берега.

Мальчик вбежал по пояс в воду, дрожащими руками ухватил сундучок за два угла и потащил его к берегу.

На берегу оказалось, что сундучок не заперт.

Сердце больно било в виски мальчика, когда он откинул забухшую крышку. Сундучок был пуст.

– О, какая злая насмешка!

Но на внутренней стороне крышки мальчик увидел самого себя: там было вделано карманное зеркальце, и в холодном стекле живо отразились глубокие, страстные, удивленные глаза – глаза мечтателя, и все его розовое лицо, и обидные мальчишеские вихры на голове.

Издалека – со стороны открытого моря – донесся до него крик белых птиц, птиц широких водных просторов.

Издали крик чаек похож на насмешливый хохот.

Человек открыл глаза.

Да, это было то самое место, где он мальчиком получил в подарок от моря матросский сундучок.

Подарок этот он бережно хранит до сих пор.

Каждое новое издание своих стихов – одну книжку – он кладет в заветный сундучок. Теперь сундучок полон почти доверху.

Он сумел наполнить простор мира своими мечтами, своими увлекательными стихами о тайнах жизни.

И когда открывает теперь крышку сундучка, – по-прежнему в зеркальце отражается то же лицо, те же удивленные, сияющие глаза, хоть они и постарели лет на сорок.

Но еще он видит и другое: множество человеческих лиц, которые смотрят на него с любовью, с благодарностью, с дружбой. Это те, с кем делил он горе и радости на долгом пути своей жизни, о ком рассказывал в своих книгах и к кому обращал свои слова – самые заветные, самые дорогие сердцу слова. Люди – знакомые и незнакомые, – он отдал им себя целиком, все лучшее в себе, лишь для того, чтобы для них сделать жизнь богаче и лучше. Пытать, разведывать жизнь, разгадывать ее удивительные тайны – это только половина дела. Другая в том, чтобы опыт свой, свои открытия – большие и маленькие – передать людям-братьям. Не в этом ли высшее на земле наслаждение?

«В конце концов, – думает поэт, вспоминая подаренный ему морем сундучок, – это было совсем не так глупо и зло. Лучшего подарка я никогда в жизни не получал».

Чайки хохочут вдали.

Поэт вслушивается в их крик и, сияя удивленными глазами, говорит вслух самому себе и всему миру:

– Но это ведь совсем не хохот! Это – фанфары, пронзительный и могучий зов. И он наполняет собою глухие без него просторы морей и поднебесья.

Двойная весна

Зимой в Ленинграде моим глазам и ушам работы мало. Но вот замечаю: на крыше подрались воробьи. И сразу удваивается мое внимание ко всему окружающему: ведь первая потасовка воробьев – это первый намек на весну. Вот будут еще и еще сигналы. Каждый новый птичий голос весной – подарок. И какое наслаждение отмечать эти новые голоса, пока они не слились в огромный общий хор – апофеоз природе и солнцу!

Положено и человеку радоваться весне. Но часто при этом думаешь: много ли еще таких радостных встреч предстоит тебе в жизни?

И раз мне пришла в голову лукавая мысль:

«А почему бы не вырвать у жизни хотя бы одну лишнюю весну? Ведь родина моя так велика. Ежегодно в разных концах ее бывает много разных весен.

Съезжу-ка на Кавказ. Конец февраля. Там как раз начинается весна. Южная весна коротка. Успею встретить ее и вернуться. Тут встречу вторую в году – нашу неторопливую северную весну».

Даже краска прилила к лицу, – точно задумал обмануть судьбу.

Как раз у меня и возможность была съездить куда-нибудь – отдохнуть между двумя работами.

Беру билет на поезд до Туапсе и через три дня, проснувшись утром, вижу: весна!

В Туапсе на улицах припекало, кой-где была уже пыль, хотя горы кругом сверкали снегом. В садах громко пинькали лиловогрудые красавцы зяблики.

Сразу видно, что они только что прибыли сюда: ни одной самочки в их холостяцких стаях. Более сильные самцы удрали вперед. Самочки прибудут позже.

Еще только первое марта, но я опаздываю. Скорей, скорей, вперед!

И вот прекрасный теплоход «Абхазия» уже развертывает передо мной неторопливо-величественную панораму Кавказского побережья и бесконечный простор моря.

Последняя ниточка, связывающая меня с родным севером, рвется. Я в другой стороне – прекрасной, желанной, но не родной.

На молу сидят, наподобие прусских орлов, подняв и растопырив крылья, большие черные птицы. Невиданные у нас птицы – бакланы. Смешные звери выскакивают из волн и падают назад в море. Таких не увидишь даже в ленинградском и московском зоопарках: дельфины. И даже чайки, белорозовой стаей провожающие теплоход, – не наши чайки: розовогрудые с красными носами и лапками – морские голубки.

Идет, идет теплоход, винтом отсчитывая время и пространство.

Вот уже Гагры.

Внушительная картина! Огромные горы. В расщелинах – завалы тяжелых мутных туч. На вершине – дикие, засыпанные снегом леса, пихтач – словно настоящая сибирская тайга. А на узкой полоске берега игрушечные красивые домики-ульи и перед ними – пальмы, кипарисы, эвкалипты.

Бесшумно течет вода, течет время.

Сухуми.

Стоит однажды побывать в этом милом городке – и уж будет, непременно будет тянуть побывать в нем еще раз.

Когда-то осенью я был в Сухуми. И, конечно, у меня, как и у всякого, кто здесь хоть немного пожил, остались друзья среди приветливого и гостеприимного местного населения.

Меня потянуло к ним. Я сошел в Сухуми.

Какая же может быть весна, когда не было зимы?

На улицах жарко. Пальто ни к чему.

Съездил в Алексеевское ущелье, побывал в саду ВИРа[2]. Всюду поют черные дрозды. Только вообразить себе эту блестяще-черную с золотым носом птицу в нашем северном лесу на белой березе!

И уже совсем ряженым кажется изумрудно-коричнево-голубой зимородок, сидячий на кусте над горным ручьем.

Каждый день прибывают стаи новых птиц и устраиваются здесь хозяйственно: они уже дома.

Зябличихи тоже тут. Вот-вот мужские и женские стайки распадутся, разобьются на парочки.

И вдруг – неожиданно – снег.

Самый настоящий северный снег. И холод. И вьюга.

Классическое «старожилы не запомнят»! Такой вдруг снег, такой неожиданный здесь холод в марте!

Снег не тает и на другой день. И вот в ресторане «Рица» появляется новое блюдо: жареные вальдшнепы.

И на третий день – снег и вальдшнепы.

Не узнаю города: слоновые ноги пальм стоят прямо в снегу. Отягощенные снегом, никнут к самой земле громадные листья бананов. На ободранных ветвях эвкалиптов – это австралийское дерево, как змея, ежегодно меняет кожу, – на австралийских деревьях сидят мокрые от снега вороны и простуженно каркают.

Ватага ребятишек, вооруженная палками, направляется в гору. Иду за ними.

Нам встречаются охотники, обвешанные вязанками битых вальдшнепов.

Вот поди же! А ведь у нас на севере эта чудесная сумеречная птица с большими трагическими глазами – желанная и всегда очень немногочисленная добыча охотников. Она улетает от нас с первой порошей.

Здесь она живет зимой на склонах гор в буковых и других широколиственных лесах. Ей нужно глубоко в мягкую землю втыкать свой длинный клюв, чтобы нащупать им съедобную живность. Снег для нее – смерть.

Горы засыпал глубокий снег. Вальдшнепы спустились вниз, прямо на улицы. Они истощены, обессилены.

Мальчишки бьют их палками.

Мне удалось спасти только одного вальдшнепа. Он не мог взлететь. Я схватил его руками. Рассматривая его, заметил, что на левой ноге вместо среднего, самого длинного пальца, у него культяпочка. Это тронуло меня.

Принес к себе. Пустил в садик. Тут снег уж почти весь сошел.

Вальдшнеп прожил в садике три дня. Потом – ночью – улетел.

Только сошел снег – и в Сухуми сразу настало лето.

Здешние зяблики уже разбились на пары и свили гнезда. Весна кончилась.

Пора мне назад домой.

В Ленинграде еще бушевала волчья вьюга.

В деревню я выбрался только в конце апреля. Пригласил с собой приятеля-южанина, охотника: в наших лесах весной хороша тяга вальдшнепов, есть чем похвастать.

Попав в родной лес, я почувствовал себя так, будто обежал земной шар с такой быстротой, что встретил самого себя лицом к лицу.

---

[2] Всесоюзный институт растениеводства.

Опять на деревьях пинькали стаи зябликов. Они здесь еще не разбились на пары. Вспыхнув рыжим надхвостьем, поднялся в кустах вальдшнеп. Повторялось все то, что я видел недавно на другом конце страны.

Я стал у одной опушки, приятель мой – у другой, шагах в двухстах от меня.

Солнце зашло, и птицы примолкли.

Теперь должен протянуть первый вальдшнеп.

Но он не тянул.

«Еще слишком светло, – утешет я себя. – Небо чистое. Сегодня тяга начнется поздно».

Глубокий душевный трепет объемлет душу весной в лесу в эти часы. Нагая ночь севера – белая ночь – гонит сон от глаз. Таинственно оживают в ней белые тела берез, серебристые стволы осин. Сухопарые колючие сосны протягивают к ним свои колючие руки. И таинственно темнеют в глубине неодетого леса дремучие ели. Призрак неутоленной любви поднимается тогда от черной душной земли к мерцающему бледными звездами небу.

Птицы не спят в эти ночи. Молчанием проводив уходящее на покой солнце, они скоро не выдерживают и снова заливаются песнями. Взлетев на тонкие вершины елок, поют наши серенькие дрозды-белобровки и певчие. Цвирикает в кустах черноокая зарянка. И хриплым от страсти голосом неожиданно начинает кричать в ночи только что прилетевшая на родину кукушка.

Напрасно, замолкнув, ждет она ответа на свой призыв: веселого, звонкого хохота самочки. Не прилетели еще кукушки-самки. Они прибудут, когда лес оденется листвой.

Колдуя, чуффыкает, звонко бормочет где-то тетерев-косач.

Среди всех этих чудесных звуков слух мой ищет одного – самого желанного: негромкого, хрипловатого «хорканья» и «цирканья» тянущего вальдшнепа. Переждав с четверть часа после захода солнца, вальдшнепы-самцы поднимаются с земли, беспокойно снуют над лесом. Они разыскивают, высматривают своих самок. Это и называется «тягой».

Я весь напрягся в ожидании первого хорканья. Вспоминалось, как в прошлые весны простаивал белые вечера на этом же месте и над головой у меня пролетало десять – пятнадцать красивых долгоносиков, десять – пятнадцать раз вскидывал я к плечу ружье и стрелял, волнуясь, боясь упустить короткий миг возможного попадания.

Но в сердце уже закрадывалась тревога: что-то случилось этой весной. Не будет нынче той обильной тяги. Что-то уж слишком долго она не начинается.

И тут вдруг – как всегда, когда стоишь на тяге, – неожиданно, хотя все мысли заняты ожиданием этого звука, – донеслось откуда-то легкое «ципит, ципит, хорр, хорр!».

Я резко повернулся в ту сторону. И увидел: над опушкой, где стоял мой приятель, на фоне зеленоватой зари, толчками двигаясь в воздухе, неслась птица.

Странным образам она летела – вперед длинным опущенным хвостом. И у нее не было головы.

Мгновенная иллюзия рассеялась: то, что представлялось мне хвостом птицы, был длинный, внимательно опущенный книзу клюв вальдшнепа.

И я увидел, как внезапно вальдшнеп собрался в комочек – уже нельзя было различить, где у него хвост, где голова, – и безжизненно упал вниз.

Тут сразу донесся до меня и звук выстрела.

– Ну, – я вздохнул с облегчением, – один есть! Теперь начнется.

Я радовался, что приятель уж не вернется домой «попом» – без дичи.

Но ничего не «началось». Лес потемнел, в нем слились очертания отдельных деревьев. Прошел час. А вальдшнепы все не тянули.

Дальше ждать не имело смысла. Я крикнул приятелю. Он подошел.

– Хороша же ваша хваленая тяга, – сказал он сердито. – Один только и протянул. Вот он. На Кавказе зимой я бил их десятками.

Приятель передал мне убитого вальдшнепа.

Разглядывая птицу, я заметил, что на левой ноге у нее вместо среднего, самого длинного пальца, – культяпочка.

Меня как током кольнуло.

Я, конечно, не могу утверждать, что это тот самый вальдшнеп, которому я недавно спас жизнь за тысячи километров отсюда – в Сухуми. Но только я вспомнил, что наши северные вальдшнепы летят зимовать на Кавказ и смешиваются там с кавказскими.

Я вспомнил сухумских охотников, обвешанных вязанками вальдшнепов.

Быть может, именно из моего северного леса вальдшнепы – эти птицы с большими трагическими глазами, – собравшись в стаю, зимовали в широколиственных бесснежных лесах над городом Сухуми. Возможно. Очень возможно.

И я стал думать какое огромное у нас слово – Родина! Какую часть земного шара она обнимает! И все же юг и север, восток и запад – одно хозяйство.

Вот птицы: уничтожь стаю их зимой на юге – весной останешься без охоты на севере.

О Аулей, Аулей, Аулей!

К середине апреля лед потемнел, побурел, кой-где отошел от берегов, и в самой середине озера образовалась полынья.

Как огромный синий-синий самоцвет, засияла на солнце освобожденная вода. И утром, и днем, и вечером – когда ни взглянешь, – тут сидят, спускаются или поднимаются стаи пролетных уток, а ночью слышится с полыньи их неумолчный гортанный гомон.

В сильный полевой бинокль я хорошо различал их с берега. Все это были нырки: гоголя, чёрнети и спешащие на далекий север морянки-аулейки – черно-белые, с острыми, как стрелы, хвостами.

Впрочем, морянок-то я различал и ночью по их крику, совсем не похожему на кряканье, гогот, свист других уток. Звонким, напористым голосом они как бы зовут, призывают издалека-далека кого-то, чье имя – Аулей:

– О Аулей, Аулей, Аулей!

Кряквы, шилохвосты, свиязи и другие мелководные утки полыньи не посещали. Им тут нечего делать: середина озера очень глубока, а они ведь достают себе еду со дна, не ныряют, а только опрокидывают в воду переднюю половину своего тела. Нырки же могут доставать себе еду даже подо льдом.

Последние дни в поднебесье, над озером, шли лебеди. Их могучие ликующие голоса покрывали собой все другие весенние звуки, песни и крики. Волновали они меня необычайно своей неописанной красотой.

Я читал в книжках: крик лебедя сравнивают с серебряной трубой. В жизни не слыхал труб, сделанных из чистого серебра. Но трубы – какие-то большие, неведомые, сказочные трубы – клики лебедей действительно напоминают, хоть не слыхал я и сказочных труб.

Три дня назад, утром, эти победные трубы ворвались в мой сон и властно прервали его. Мне показалось, они прогремели совсем низко, над самой крышей моей избушки.

Я спал не раздеваясь и сейчас же выскочил с биноклем на берег.

Двенадцать великолепных птиц, величаво поднимая и опуская широкие крылья, косым углом плыли уже над противоположным берегом озера. В ярком свете солнца, поднимающегося из темного леса, их белоснежные тела и крылья отливали ослепительным серебром.

«Вот отсюда и взялось сравнение с серебряными трубами», – подумал я.

И еще подумал, что косяк дает круг, снижается, – верно, хочет сесть на озере.

В этот миг над тем берегом, на стене темного леса, блеснул быстрый злой огонек и вспыхнуло белое облачко дыма.

Я не поверил своим глазам – быстро навел бинокль на это место. Тут донесся до меня звук выстрела, и я увидел на том берегу маленькую фигуру охотника.

Сомнений быть не могло, стрелок бил по лебедям и бил метко: косяк расстроился, лебеди сбились и пошли вверх, а один из них отстал и как-то боком, загребая одним крылом, снижался по кругу к середине озера.

«Дорого тебе станет этот выстрел!» – в гневе подумал я про охотника. Но он уже повернулся и поспешно скрылся в лесу.

Наш охотничий закон запрещает бить лебедей. За убийство этой прекрасной птицы суд присуждает виновного к большому штрафу.

Уже мало остается на земле таких глухих мест, обширных озерных крепей, где, таясь от человеческого глаза, в огромных гнездах из камыша и вырванного из собственной груди пуха выводят эти сказочные птицы своих розовоногих пушистых птенцов. Редки становятся лебеди даже на наших просторах.

Подбитый лебедь уже сидел на полынье, раскинув по воде правое, видно раненое, крыло и высоко подняв прямую шею. Это был кликун – самый крупный из наших лебедей: его сразу можно отличить по прямой, немного дикой осанке от чрезмерно красивых шипунов – живого украшения городских парков всего мира. Сидя на воде, шипун держит крылья горкой над спиной, шею – всегда плавно изогнутой. Кликун гордо поднимает голову, держа шею во всю ее высоту, плотно прижимает крылья к телу.

Отыскав глазами его товарищей, я увидел их над дальним концом озера.

Они опять выстроились косяком и, медленно, мерно взмахивая тяжелыми крыльями, на большой высоте спокойно уходили от опасного места.

И тут сидевший на полынье кликун начал кричать.

– Кринг-клю-у! – кричал покинутый лебедь звенящим, хрипловатым голосом.

В певучем его крике слышалась боль, слышалось отчаяние, слышался тоскливый зов. Да, отчаянный зов.

– Кринг-клинг-кланг-клю-у! – издалека отозвалась ему стая.

– Кринг-клю-у! – отчаянно звал раненый.

И стая повернула. Косяк сделал широкий круг, перестроился в одну линию, снизился и, перестав шевелить крыльями, пошел на посадку. Раненый замолчал.

Я видел в бинокль, как лебеди один за другим спускались на воду, поднимали две стены брызг и некоторое время с разгона двигались по воде.

Потом стая сплылась, и я перестал различать между ними раненого.

Не хочется рассказывать, что было дальше. Все и так понятно: ведь лебеди, как и мелководные утки, не могут кормиться на глубине. Они достают себе еду, как утки, погружая длинную шею в воду, – со дна, мелкого дна.

Через два часа стая, тяжело поднявшись с воды, стала на крыло и, снова выстроившись косым углом, продолжала свой путь на север, к своим гнездовьям.

Раненый опять закричал. Как он кричал! Пусть другие думают, что хотят, а я уверен, что он знал свою судьбу. Он был обречен на голодную смерть.

Существует легенда, что лебедь поет перед смертью. Да, этот певучий крик можно было назвать песней. Мне она казалась звуком неведомой трубы.

Я пытался спасти раненого лебедя. Но это было невозможно.

Рыбаки только головами качали на мои просьбы помочь мне: не только лодки нельзя было дотащить до полыньи, но уже и ступить на трещавший, крошащийся под ногами лед было рискованно.

Лебедь плавал в самой середине быстро увеличивающейся полыньи и не приближался к ее ледяным берегам. Не в силах больше выносить его крика, я ушел из дома – из избушки на высоком берегу озера.

Но долго еще в дороге преследовал меня могучий, тоскливый трубный крик.

Я вернулся домой через два дня утром.

Лебедь больше не кричал. Его не было видно на полынье.

В бинокль я разглядел на закрайке льда большое алое пятно и по всему льду озера от леса до полыньи – легкие цепочки лисьих следов.

Может быть, ночью лебедь вышел на лед – хотел идти к берегу, к мелкому месту, и тут достался хищникам, – не знаю.

Лебедя не стало. С полыньи доносился опять только звонкий зов морянок:

– О Аулей, Аулей, Аулей!

Стаи снимались с озера, летели на север – к своим гнездовьям.

С удовлетворением я узнал в деревне, что охотник, стрелявший в лебедя, был остановлен лесной стражей и отдан под суд.

Морской чертенок

1. В борьбе со стихиями

Сам теперь не пойму, как я отважился на эту отчаянную поездку. Один!

Море было грозно, вдали по нему ходили злые барашки. Едва только я отшвартовался, снял конец с прикола, – волны кинули лодку и, ударив ее бортом о пристань, погнали к берегу. С большим трудом я успел поставить в уключины весла и направить лодку носом в море. И тут началась борьба.

Две стихии – море и ветер, – казалось, сговорились, чтобы не дать мне достигнуть цели и погубить меня. Я изо всех сил наваливался на весла, волны рвали их у меня из рук, а ветер, накидываясь то с одной, то с другой стороны, старался повернуть лодку назад к берегу и, поставив бортом к волне, опрокинуть ее. Очень скоро мои ладони покрылись мозолями. Но я почти не чувствовал боли: все мое внимание было поглощено тем, чтобы держать правильный курс.

Как я жалел теперь, что не подговорил с собой кого-нибудь из товарищей! Будь у меня рулевой, он мог бы, сидя на корме, держать руль по курсу, и мне оставалось бы только справляться с веслами. А одному приходилось каждую минуту оборачиваться то через одно, то через другое плечо – смотреть, прямо ли к цели идет моя лодка.

Целью моего плавания были запретные Пять Братьев. Так назывались пять скал, дружной грудой возвышавшиеся над волнами невдалеке от берега.

Я сказал – «невдалеке». Но все на свете относительно. Преодолеть это расстояние при тихой погоде было бы не трудно, а сейчас оно казалось огромным.

Несмотря на ветер, пот лил с меня градом. И вдруг я почувствовал облегчение: лодка подошла под прикрытие Пяти Братьев, и тут – в заветёрках – сразу перестало рвать ее из стороны в сторону.

Однако пристать к скалам с береговой стороны не было никакой возможности. Надо обогнуть их с запада: войти в проход между двумя старшими Братьями – самыми большими из камней. Это я знал, потому что мне уже дважды пришлось побывать на Пяти Братьях. Я знал, что ворота – очень опасное место: прибой там бьет с удесятеренной силой и может в щепки разбить лодку, бросив ее на камни.

Придержав лодку на месте, я немного отдохнул: надо было набраться сил для последнего, самого рискованного перехода.

Я оглядел берег. На нем никого не было. Да и кто будет выходить в море в такую рань и в такой ветер?

Наконец я собрался с духом и направил лодку в каменные ворота. Сильное течение разом загородило мне путь. Мне показалось даже, что лодку тащит назад.

Оборачиваться уже не было времени, но, скосив глаза, я по камню увидал, что потихоньку ползу вперед.

Это придало мне силы. Я налег на весла – и как-то совсем неожиданно легко очутился по другую сторону каменных ворот.

Резко повернув лодку, я без приключений ввел ее в узкую гавань между двумя Братьями – одним из старших и младшим.

Тут было тихо. Я кинул весла на дно лодки, перешел на нос, взял кошку – четырехлапый якорь – и забросил ее на старшего Брата. Подергал – зацепилась крепко.

Опасный переход кончен.

Теперь можно собраться с мыслями и приниматься за дело.

2. Из темной пучины

Отдохнув, я разложил в лодке все свои запасы и нацепил на крючок целый клубок червей. Мелкая добыча, что берет на одного червя, меня не интересовала: не за тем я ехал сюда, рискуя жизнью.

Я забросил удочку. Поплавок из сухой камышины вынырнул и лег спокойно. Тогда все исчезло – берег, небо, лодка; осталась только эта камышинка да кусочек моря, на котором она покоилась. Я смотрел на нее не отрывая глаз.

Смотрел и думал о том, что сегодня ожидает меня необыкновенная добыча. Ведь не на простую ловлю я выехал, не с берега, в мелкую воду, закинул удочку. Я – в море, на скалах. Кто знает, какая тут глубина? И что таит в себе пучина, какие живут в ней огромные, невиданные рыбы? Может быть, сегодня ждет меня счастье, и я вытащу какую-нибудь рыбину, у которой даже названия нет, потому что никто еще не ловил таких. Может быть, тут, под скалами, стоит сейчас целая стая таких рыб, и как начнут они клевать одна за другой– только поспевай вытаскивать! Я полную лодку набью добычей.

Поплавок по-прежнему спокойно лежал на воде.

Следуя мысленно за лесой, ушедшей в темную воду, я думал, какой невообразимой глубины бывают моря и океаны! Целые километры воды под тобой. Неизведанная глубина!

И мне представился крошечный-крошечный человечек на скорлупке-лодочке. Под ним бездна – пучина морская. И над ним бездна – воздушный океан, межзвездные неизмеримые пространства…

Оторвав на минутку глаза от поплавка, я взглянул вверх и между разорванными ветром тучами увидел бездонное синее небо. «Ведь будет такое время, – подумалось мне, – когда человек научится спускаться в глубь океанов, до самого дна, и подниматься ввысь – до луны, до планет, может быть, до самых далеких звезд».

Я опять перевел глаза на поплавок и не мог дать себе ясного отчета: действительно он дрогнул или это мне только показалось?

Мгновенно исчезли бездны – вверху и внизу: глаза мои впились в поплавок.

Он спокойно лежал на воде.

Я выждал несколько минут. Потом повел его удочкой – подальше от скалы: может быть, там клюнет?

Вдруг поплавок встал – и вмиг исчез под водой.

Какая-то неведомая сила увлекла его в темную бездну, натянула лесу, согнула конец моего удилища.

Но другой конец я крепко держал в руках. Вскочив на ноги, я порывистым движением дернул удочку.

Руки мои почувствовали сопротивление: кто-то там, в глубине, упирался.

Я потянул сильнее. Руки у меня дрожали.

Тот – внизу – немножко поддался.

Я тянул и тянул.

Из воды показалась камышинка-поплавок.

Поплавок стоймя стал подвигаться ко мне.

Но вдруг тот, под водой, стал – и ни с места.

Я рванул. Он поддался, но сейчас же утянул лесу назад. Я рванул изо всей силы.

На конце лесы вылетела из моря рыба не рыба – настоящее чудовище: все в колючках; голая голова с разинутой зубастой пастью, за ней растопыренные когтистые крылья; спины нет, а сразу хвост, тоже весь в шипах.

Блеснув на солнце темными пятнами, чудовище вместе с лесой опустилось на дно лодки.

Я с торжеством посмотрел на берег: моя взяла!

И хорошо сделал, что посмотрел: оттуда, с берега, грозила мне такая опасность, что я разом забыл даже о своей необычайной добыче.

На берегу стеной стоял сосновый лес. В полкилометре справа он кончался. За ним виднелась дача. От дачи к лесу шел человек в костюме из желтовато-коричневой шерсти, с ружьем за плечами.

Сейчас он войдет в лес. Оттуда ему не будет видно меня. Но если он выйдет из лесу против Пяти Братьев раньше, чем я окажусь на берегу, он сразу заметит меня в море. Тогда я пропал.

Каждая минутах была дорога. Не обращая внимания на чудовище, отчаянно бившееся на дне лодки, я прыгнул с борта на камень, отцепил кошку, махнул с ней назад в лодку и сел за весла. Грести к берегу было легко: ветер дул в спину, волны сами несли меня к цели.

В несколько минут я достиг пристани и поставил лодку на прикол.

Схватив удочку, не успев даже отцепить болтающуюся на конце ее добычу, я бегом по мосткам кинулся к берегу.

3. Мечты и действительность

Только я соскочил с мостков на песок, из лесу вышел человек с ружьем в верблюжьем костюме. Это был мой отец.

Мой отец был строгий человек. Узнай он, что я ездил на Пять Братьев, да еще в такой ветер, не бывать бы мне больше в лодке до следующего года.

Ведь мне было всего десять лет, и отец строго запретил мне одному, без взрослых, брать лодку.

Но я был на берегу. Отец, наверно, подумал, что я удил с мостков. В этот день мне везло. Солгать отцу я не мог бы. Но, действуя по вдохновению, я избежал прямого вопроса и, можно сказать, выскочил сухим из воды.

– Папа! – закричал я вместо приветствия. – Я поймал морского черта!

– Ну, что за пустяки! – отозвался отец, с любопытством, однако, взглянув на мою добычу, все еще бившуюся на конце удочки. Он был большой знаток природы и с великой страстью изучал ее.

– А любопытно, – прибавил он, перехватив у меня лесу. – Это бычок-подкаменщик. Удивительная мелководная рыбка. Прячется под камнями, а проплывет кто-нибудь мимо – рыбка ли, водяная мокрица, жучья личинка, – стрелой вылетит и – в пасть. Обжора страшный!

Я слушал и ликовал: гроза миновала, отец не видел меня на Пяти Братьях! Когда-нибудь, когда я буду большой, я сознаюсь ему в своем проступке. А пока – я герой.

И что ж такого, что это не морской черт, а всего чертенок, бычок какой-то, рыбка, умещающаяся на моей ладони? Сам отец говорит, что это удивительная рыба.

И что ж такого, что Пять Братьев совсем не скалы, а просто пять камней в каких-нибудь ста метрах от берега? И что там не пучина морская, а совсем мелко?

Ведь я-то вправду рисковал жизнью, поехав туда в лодке один, в такой ветер.

И я вправду поймал там замечательное маленькое чудовище – все из колючих крыльев-плавников да из хвоста с шипами.

Отец пойдет сейчас дальше – он вышел на охоту, а я побегу домой и буду хвастать своей необычайной добычей матери и всем своим товарищам. И все будут ахать и удивляться. А кой-кому из товарищей я даже шепну на ушко, как я этого морского черта добыл с риском для жизни.

И все равно, над морем – бездонное небо, а под ним – бездонные моря и океаны, и весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной полон неизведанных тайн. И я их буду открывать всю жизнь, потому что это самое интересное, самое увлекательное занятие в мире!

Сумасшедшая птица

Когда мне было десять лет, я прожил целую зиму в деревне.

Я бегал по лесу, выслеживал птиц и узнавал разные интересные подробности их жизни. Это было моим любимым занятием, и я очень скучал, когда что-нибудь мешало моим прогулкам.

Но вот ударили крещенские морозы. Поднялась сильная метель.

Отец долго не выпускал меня из дому. Время тянулось ужасно медленно.

Наконец, через несколько дней я, проснувшись утром, увидел в окошко ясное голубое небо. Я сейчас же отпросился у отца, оделся и выскочил во двор.

На дворе было морозно, но тихо. Ярко светило солнце. Глазам было больно от белого снега.

В лес нечего было и думать пробраться. Там намело такие сугробы рыхлого снега, что я на каждом шагу проваливался по пояс. Пришлось направиться вдоль по реке. С нее, наоборот, ветром смело почти весь снег, так что местами был виден голубоватый лед.

Птиц не было нигде.

Передо мной тянулась длинная белая полоса реки. Справа и слева на ее крутых берегах молчаливо стоял засыпанный снегом лес. Даже писка синиц не было в нем слышно.

Я подумал: «Верно, птицы плохо чувствуют себя после такой долгой метели».

Скоро я увидел перед собой на снегу черное пятно.

Оказалось, что это мертвая ворона. Она лежала, уткнувшись головой в сугроб, распластав крылья.

Я поднял ее, осмотрел со всех сторон. Она уже окоченела. Нигде на всем теле ее не было ни следа раны или ушиба.

Я понял, что ворону убил мороз.

Мне было очень жалко эту большую крепкую птицу, замерзшую тут, посреди сугробов. Я утешал себя мыслью, что не все птицы погибли в эти дни. Наверное, мне удастся еще сегодня поймать какую-нибудь полумертвую птичку. Я снесу ее домой обогрею, накормлю и буду держать до весны.

Словно в ответ на мои мысли, невдалеке послышалось тихое щебетанье.

Я поднял глаза. Впереди была прорубь. По краю ее, у самой воды, прыгала белогрудая птичка. Она дергала коротким хвостом и заливалась на все лады самой веселой песней.

«Вот сумасшедшая, – подумал я. – Как она может радоваться в такой мороз?»

Белогрудая птичка не обращала на меня никакого внимания. Мне захотелось ближе посмотреть ее. Но едва я сделал несколько шагов к ней, как птица с размаху бросилась в прорубь вниз головой. Одно мгновенье я еще видел, как она быстро двигала крыльями, словно летела в воде. Потом она исчезла подо льдом.

Я так и остался стоять с выпученными глазами и открытым ртом.

«Утопилась!» – мелькнула вдруг у меня страшная мысль. Я бросился к проруби. Мелкая вода текла здесь очень быстро.

Утопленницы нигде не было видно.

Слезы навернулись мне на глаза.

Я прибежал домой, к отцу, с мертвой вороной в руках и с удивительным рассказом про белогрудую птицу-утопленницу.

Ворону отец велел мне сейчас же выкинуть, а над моим рассказом долго смеялся. Я не понимал, что тут смешного, и очень сердился на отца.

– Дурачок! – сказал он. – Ведь это была оляпка. Она вовсе не утонула, а прыгает теперь снова по льду и радуется, что обманула тебя.

– Неправда! – горячился я. – Она сошла с ума и утопилась. Я сам видел, как ее утянуло под лед. Течение там такое быстрое…

– Ну, вот что, – остановил меня отец, – беги-ка опять на то место, где ты ее видел. Она будет там. А если там нет, значит, неподалеку от первой проруби оляпка выскочила во вторую, нырнув от тебя под лед.

Я опять побежал на реку. Отец мой любил и хорошо знал птиц. Если он говорит, что оляпка бросилась в прорубь нарочно, – значит, есть надежда, что моя белогрудая птичка жива.

У проруби оляпки не было. Но дальше на реке я увидел вторую прорубь, пошел к ней – и вдруг заметил мою утопленницу на обрывистом берегу реки. Она была жива и здорова, бегала по снегу и распевала свою негромкую песенку, похожую на плеск и журчанье ручья.

Я побежал к ней. Она слетела к проруби, закачалась на высоких ножках, словно кланялась мне, а когда я приблизился, бухнула в воду, словно лягушка в болото.

Стоя над прорубью, я видел, как она гребла под водой крыльями, словно пловец руками. Потом она побежала по дну, цепляясь изогнутыми коготками за все его неровности. В одном месте она даже задержалась немножко и на моих глазах перевернула клювом камешек и вытащила из-под него водяного жука.

А через полминуты она уже выскочила из другой проруби.

Я с трудом верил своим глазам. Мне все хотелось еще поближе рассмотреть ее. Несколько раз подряд я заставлял ее кидаться в воду.

Меня очень удивляло, что под водой она блестит, как серебряная рыбка. Я не знал еще тогда, что перья оляпки смазаны тонким слоем жира. Когда птица погружается в воду, воздух пузырится на ее жирных перьях и блестит.

Наконец ей надоело нырять. Она поднялась на воздух, полетела над рекой прямо, как по ниточке, и в одну минуту скрылась у меня из глаз.

* * *

Прошло почти два месяца со дня моей первой встречи с оляпкой. За это время я очень полюбил ее. В хорошую погоду я отправлялся на реку, следить за ней. Она всегда успевала юркнуть от меня в прорубь. И всегда при этом вид был такой веселый, словно мы играли в «кошки-мышки».

Вся деревня знала эту забавную маленькую птицу. Крестьяне звали ее водяным воробьем.

* * *

В конце зимы снова затрещали морозы, еще крепче крещенских. В эти дни моя оляпка уже не пела больше.

Теперь мне приходилось долго разыскивать ее, прежде чем я находил ее где-нибудь под ледяным навесом берега. Тут она сидела нахохлившись. Вид у нее был грустный и недовольный. Когда я подходил к ней, она молча снималась и улетала куда-то далеко, всегда в одну и ту же сторону. И вот, наконец, настал день, когда она улетела с этого места: проруби замерзли. Лед мешал оляпке нырять в воду за жуками. Я очень тревожился о моей белогрудой приятельнице.

«Может быть, – думал я, – она лежит теперь где-нибудь в снегу, как та ворона, что я нашел на реке после метели».

Дома отец сказал мне:

– Возможно, твоя оляпка попала в когти какому-нибудь хищнику. А всего верней, она просто отправилась искать себе другое место на реке, где вода не замерзает в самые крутые морозы.

На следующее утро опять выглянуло солнце, и я отправился на розыски оляпки. Миновав знакомые проруби, я взобрался на обрывистый берег и пошел вдоль реки.

Скоро путь мне преградила маленькая речка. Она быстро неслась с горки и круто обрывалась с берега, по которому я шел, в большую реку.

Это был настоящий водопад. Речка широкой струей хлестала с обрыва и пенилась внизу, крутясь в бурном водовороте. В этом месте на большой реке была широкая полынья.

Я никогда прежде не видал водопада. С восторгом и страхом смотрел я на бешеный поток, готовый смять под собой всякого, кто неосторожно к нему приблизится.

Вдруг я заметил двух птиц, летевших прямо к водопаду.

Впереди неслась, сверкая белой грудью, моя оляпка. Сзади быстро настигал ее огромный серый ястреб.

Не успел я опомниться, как сумасшедшая птичка исчезла в стремительной струе водопада.

Ястреб круто взмыл кверху перед падающей стеной воды, на одно мгновенье повис в воздухе, повернулся и медленно полетел прочь. Добыча ускользнула из его когтей.

Ястреб не знал, что сталось с оляпкой. Но я видел, как она стремглав пронеслась сквозь стену водопада, сделала небольшой полукруг и как ни в чем не бывало уселась на камне под обрывом, с которого падала вода.

Сквозь шум водопада не было слышно ее голоса. Но по ее движениям я понял, что она поет свою веселую песенку.

Домой я возвращался с прогулки вприпрыжку. Теперь я был уверен, что моей смелой маленькой приятельнице не страшны ни когти ястреба, ни холод, ни голод зимы.

Да зиме уж недолго оставалось мучить птиц. День был по-весеннему теплый.

Солнце припекало, и вокруг меня с легким звоном рушился снег. Скоро должны были кончиться морозы.

С такими веселыми мыслями бежал я домой. У знакомой проруби мне пришло в голову: «Хорошо бы попробовать, очень ли холодная вода, в которой так любит купаться оляпка?»

Недолго думая, я подбежал к проруби и сильно топнул ногой по тонкому льду.

Я хотел только сломать лед, чтобы потом попробовать воду рукой. Но тонкий ледок, затянувший прорубь, уже подтаял. Он легко проломился под моим ударом. Я с размаху влетел в прорубь, сначала одной ногой, а потом, не удержав равновесие, и всем телом.

К счастью, воды в этом месте было мне всего по колено.

Как ошпаренный, выскочил я на лед и, стуча зубами от холода, сломя голову помчался домой. Вода, в которой так любила купаться оляпка, оказалась очень холодной.

В тот же день я слег в постель в сильном жару и проболел целых два месяца. А когда выздоровел, мне еще досталось от отца за то, что я искупался в проруби.

– Только сумасшедшие, – говорил отец, – нарочно лезут в воду зимой.

– А оляпка? – перебил я.

Отец рассмеялся и больше не стал бранить меня.

Фомка-разбойник

Широко ходит океанская волна. От гребня до гребня – двести метров. А внизу вода темная, непроглядная.

Много рыбы в Ледовитом океане, только ловить ее трудно.

Над волнами стаей летают белые чайки: рыбачат.

Часами на крыльях, присесть некогда. Глазами впились в воду: следят, не мелькнет ли где темная спинка рыбы.

Большая рыба – в глубине. Малек – тот самым верхом ходит, табунами.

Заметила чайка табун. Скользнула вниз. Окунулась, схватила рыбешку поперек тела – и опять на воздух.

Увидели другие чайки. Слетелись. Кувыркаются в воду. Хватают. Дерутся, кричат.

Только зря ссорятся: густо малек идет. На всю артель хватит.

А волна катит в берег.

В последний раз встала обрывом, лопнула – и гребнем вниз.

Громыхнула галькой, вскинулась пеной – и назад в море.

А на грядке – на песке, на гальке – рыбешка дохлая осталась, ракушка, морской еж, черви. Тут только не зевай, хватай, а то шальной волной прочь смоет. Легкая пожива!

Фомка-разбойник уж тут как тут.

Посмотреть на него – чайка как чайка. И ростом тот же, и лапы с перепонками. Только темный весь. А рыбачить не любит, как другие чайки.

Стыдно прямо: пешком по берегу бродит, пробавляется дохлятиной, как ворона какая-нибудь.

А сам то на море, то на берег глянет: не летит ли кто? Любит подраться. Зато и прозвали его разбойником.

Увидал – кулики-сороки на берегу собрались, морские желуди с мокрых камней выбирают.

Сейчас туда.

В один миг распугал всех, разогнал: мое здесь все, – прочь.

В траве мышка-пеструшка мелькнула. Фомка на крылья – и туда. Крылья у него острые, быстрые.

Пеструшка – бежать. Катится шариком, спешит к норке.

Не успела! Фомка догнал, стукнул клювом. У пеструшки дух вон.

Уселся, разделал пеструшку. И опять на берег, бродит, дохлятину подбирает, в море поглядывает – на белых чаек.

Вот отделилась одна от стаи, летит к берегу. В клюве – рыбка. Детям несет в гнездо. Изголодались, поди, маленькие, пока мать рыбачила.

Чайка ближе и ближе. Фомка на крылья – и к ней.

Чайка заметила, чаще крыльями замахала, стороной, стороной забирает. Клюв у нее занят – нечем защищаться от разбойника.

Фомка за ней.

Чайка ходу – и Фомка ходу.

Чайка выше – и Фомка выше.

Нагнал! Сверху, как ястреб, ударил.

Взвизгнула чайка, однако рыбку не выпускает.

Фомка опять вверх забирает.

Чайка туда, сюда – и мчится изо всех сил.

Да от Фомки не уйдешь! Он быстрый и верткий, как стриж. Опять сверху повис – вот-вот ударит!..

Не выдержала чайка. Закричала от страха – выпустила рыбку.

Фомке только того и надо. Не дал рыбешке и в воду упасть – подхватил в воздухе и проглотил на лету.

Вкусна рыбка!

Чайка кричит, стонет от обиды. А Фомке что! Знает, что чайке его не догнать. А и догонит – ей же хуже.

Глядит, – не летит ли где другая чайка с добычей?

Ждать недолго: одна за другой потянули чайки домой – к берегу.

Фомка им спуску не дает. Загоняет, замучит птицу, подхватит у нее рыбешку – и был таков!

Из сил выбились чайки. Опять рыбу высматривай, лови!

Наконец наловили. Кругом, кругом – подальше от разбойника – летят вдоль берега домой.

А уж дело к вечеру. Пора и Фомке к дому.

Поднялся, полетел в тундру. Там у него гнездо между кочек. Жена детей высиживает.

Прилетел на место, глядит: ни жены, ни гнезда! Кругом только пух летает и скорлупки от яиц валяются.

Глянул вверх, а там вдали чуть маячит на облаке черная точка: орлан-белохвост парит.

Понял тут Фомка, кто его жену съел и гнездо разорил. Бросился вверх. Гнался, гнался – не догнать орла.

Фомка уж задыхаться стал, а тот кругами все выше, выше поднимается, того и гляди, еще схватит сверху.

Вернулся Фомка на землю.

Ночевал ту ночь один в тундре, на кочке.

* * *

Никто не знает, где у чаек дом. Уж такие птицы. Только и видишь: носятся в воздухе, как хлопья снега, или присядут отдохнуть прямо на волны, качаются на них, как хлопья пены. Так и живут между небом и зыбкими волнами, а дома им точно и не полагается.

Для всех секрет, где они своих детей выводят, только не для Фомки.

На другое утро – чуть проснулся – летит к тому месту, где в океан большая река впадает.

Тут против самого устья реки словно бы громадная белая льдина в океане. Только откуда же летом льдине взяться?

У Фомки глаз зоркий: видит, что это не льдина, а остров; и сидят на нем белые чайки. Сотни их, тысячи на острове.

Остров песчаный – намела река желтого песку, а издали весь белый от птицы.

Над островом крик и шум. Чайки поднимаются белым облаком, разлетаются в разные стороны на рыбный промысел. Стая за стаей летит вдоль берега, артель за артелью принимается ловить рыбу.

Видит Фомка: совсем мало чаек осталось на острове, и те сбились все на один край. Видно, к тому краю рыба подошла.

Фомка сторонкой, сторонкой, над самой водой – к острову. Подлетел и сел на песок.

Чайки его не заметили.

Разгорелись глаза у Фомки. Подскочил к одной луночке. Там яйца.

Клювом кок – одно, кок – другое, кок – третье! И все выпил. Подскочил к другой лунке. Там два яйца и птенец.

Не пожалел и маленького. Схватил в клюв, хотел глотнуть. А чайчонок как пискнет!

В один миг чайки примчались. Откуда взялись – целая стая! Закричали, кинулись на разбойника.

Фомка чайчонка бросил – и драла!

Отчаянный был, а тут струсил: знал, что несдобровать. За своих птенцов чайки постоять сумеют.

Мчится к берегу, а наперерез ему – другая стая чаек.

Попал тут Фомка в переплет! Лихо дрался, а все же два длинных острых пера выщипали ему чайки из хвоста. Еле вырвался.

Ну, да не привыкать драчуну к колотушкам.

* * *

Ночь в тундре провел, а утром опять на берег потянуло. Чего голодать, когда там обед под ногами валяется!

Только прилетел, видит: неладное что-то творится на острове. Вьются над ним чайки, кричат пронзительно. Прилететь не успел, а уж какой галдеж подняли!

Хотел уж было назад повернуть, глядь – летит к острову громадный орлан-белохвост. Широкие крылья простер, не шевельнет ими. Скользит с высоты прямо к чайкам.

Загорелся Фомка от злости: узнал врага. Взлетел – и к острову.

Чайки стонут от страха, взвиваются выше, все выше, чтобы в когти не попасть.

А внизу, в песчаных луночках, – маленькие чайчата. Прижались к земле, дохнуть боятся: слышат – тревога, и дух замер.

Увидел их орлан. Наметил троих в одной луночке и когти разжал. Когти длинные, закорючками, сразу всех троих схватят.

Только раз шевельнул орлан крыльями – и понесся круто вниз, прямо на птенцов.

Рассыпались перед ним чайки во все стороны.

Только вдруг мелькнула в их белой стае темная тень.

Сверху стрелой упал Фомка на орлана и что есть силы ударил его клювом в спину.

Быстро обернулся орлан. Но еще быстрее увернулся, взмыл Фомка. Еще раз упал, ударил клювом в широкое крыло.

Заклекал орлан от боли. Забыл чайчат – уж не до них ему! Обернулся в погоню за Фомкой. Взмахнул тяжелыми крыльями раз и другой, понесся за дерзким забиякой.

А Фомка уж дал круг в воздухе и мчится к берегу.

Чайки снова сбились в кучу, кричали, пронзительно хохотали.

Они видели, как белохвост, не тронув их птенцов, погнался за Фомкой.

Через минуту обе птицы – большая и маленькая – исчезли у них с глаз.

* * *

А утром на следующий день чайки снова увидели Фомку: цел и невредим, он пролетел мимо их острова – вдогонку за перепуганной вороной.

По следам

Скучно Егорке целый день в избе. Глянет в окошко: бело кругом. Замело лесникову избушку снегом.

Белый стоит лес.

Знает Егорка полянку одну в лесу. Эх, и местечко! Как ни придешь – стадо куропачей из-под ног. Фррр! Фррр! – во все стороны. Только стреляй!

Да что куропатки! Зайцы там здоровые! А намедни видал Егорка на поляне еще след – неизвестно чей. С лисий будет, а когтищи прямые, длинные.

Вот бы самому выследить по следу диковинного зверя! Это тебе не заяц! Это и тятька похвалит.

Загорелось Егорке – сейчас в лес бежать!

Отец у окошка сапоги валяные подшивает.

– Тять, а тять!

– Чего тебе?

– Дозволь в лес: куропачей пострелять!

– Ишь чего вздумал, на ночь глядя-то!

– Пусти-и, тять! – жалобно тянет Егорка.

Молчит отец; у Егорки дух заняло – ой, не пустит!

Не любил лесник, чтоб парнишка без дела валандался. А и то сказать: охота пуще неволи. Почему мальчонке не промяться? Все в избе да в избе…

– Ступай уж! Да гляди, чтоб до сумерек назад. А то у меня расправа коротка: отберу фузею и ремнем еще настегаю.

Фузея – это ружье. У Егорки свое, даром что парнишке четырнадцатый год. Отец из города привез. Одноствольное, бердана называется. И птицу и зверя из него бить можно. Хорошее ружье.

Отец знает: бердана для Егорки – первая вещь на свете. Пригрози отнять – все сделает.

– Мигом обернусь, – обещает Егорка. Сам уже полушубок напялил и берданку с гвоздя сдернул.

– То-то, обернусь! – ворчит отец. – Вишь, по ночам волки кругом воют. Смотри у меня!

А Егорки уже нет в избе. Выскочил на двор, стал на лыжи – и в лес.

Отложил лесник сапоги. Взял топор, пошел в сарай сани починять.

Смеркаться стало. Кончил старик топором стучать.

Время ужинать, а парнишки нет.

Слышно было: пальнуло раза три. А с тех пор ничего.

Еще время прошло. Лесник зашел в избу, поправил фитиль в лампе, зажег ее. Вынул каши горшок из печи.

Егорки все нет. И где запропастился, поганец?

Поел. Вышел на крыльцо. Темень непроглядная.

Прислушался – ничего не слыхать.

Стоит лес черный, суком не треснет. Тихо, а кто его знает, что в нем?

– Вуу-вооу-уу!..

Вздрогнул лесник. Или показалось?

Из лесу опять:

– Воуу-уу!..

Так и есть, волк! Другой подхватил, третий… целая стая! Екнуло в груди: не иначе, на Егоркин след напали звери!

– Воуу-воуу-уу!..

Лесник заскочил в избу, выбежал – в руках двустволка. Вскинул к плечу, из дул полыхнул огонь, грохнули выстрелы. Волки пуще. Слушает лесник: не отзовется ли где Егорка?

И вот из лесу, из темноты, слабо-слабо: «бумм!»

Лесник сорвался с места, ружье за спину, подвязал лыжи – и в темноту, туда, откуда донесся Егоркин выстрел.

Темь в лесу – хоть плачь! Еловые лапы хватают за одежду, колют лицо. Деревья плотной стеной – не продерешься.

А впереди волки. В голос тянут:

– Вуу-ооуууу!..

Лесник остановился, выстрелил еще.

Нет ответа. Только волки. Плохое дело!

Опять стал продираться сквозь чащу. Шел на волчий голос.

Только успел подумать: «Воют, – пока, значит, еще не добретись…» Тут разом вой оборвался. Тихо стало.

Прошел лесник еще вперед и стал.

Выстрелил. Потом еще. Слушал долго.

Тишь такая – прямо ушам больно.

Куда пойдешь? Темно. А идти надо.

Двинулся наугад. Что ни шаг, то гуще.

Стрелял, кричал. Никто не отвечает. И опять, уж сам не зная куда, шагал, продирался по лесу.

Наконец совсем из сил выбился, осип от крика. Стал – и не знает, куда идти: давно потерял, в какой стороне дом.

Пригляделся: будто огонек из-за деревьев? Или это волчьи глаза блестят?

Пошел прямо на свет. Вышел из лесу, – чистое место, посреди него изба. В окошке свет.

Глядит лесник, глазам не верит: своя изба стоит!

Круг, значит, дал в темноте по лесу.

На дворе еще раз выстрелил. Нет ответа. И волки молчат, не воют. Видно, добычу делят.

Пропал парнишка!

Скинул лесник лыжи, зашел в избу. В избе тулупа не снял, сел на лавку. Голову на руки уронил, да так и замер.

Лампа на столе зачадила, мигнула и погасла. Не заметил лесник.

Мутный забелел свет за окошком.

Лесник поднялся. Страшный стал: в одну ночь постарел и сгорбился.

Сунул за пазуху хлеба краюху, патроны взял, ружье.

Вышел на двор – светло. Снег блестит.

Из ворот тянутся по снегу две борозды от Егоркиных лыж. Лесник поглядел, махнул рукой. Подумал: «Если б луна ночью, может, и отыскал бы парнишку по бело-тропу. Пойти хоть косточки собрать! А то – бывает же такое! – может, и жив еще?..»

Приладил лыжи и побежал по следу.

Борозды свернули влево, повели вдоль опушки.

Бежит по ним лесник, сам глазами по снегу шарит. Не пропускает ни следа, ни царапины. Читает по снегу, как по книге.

А в книге той записано все, что с Егоркой приключилось за ночь. Глядит лесник на снег и все понимает: где Егорка шел и что делал.

Вот бежал парнишка опушкой. В стороне на снегу крестики тонких птичьих пальцев и острых перьев.

Сорок, значит, спугнул Егорка. Мышковали тут сороки: кругом мышиные петли-дорожки.

Тут зверька с земли поднял.

Белка по насту прыгала. Ее след. Задние ноги у нее длинные – следок от них тоже длинный. Задние ноги белка вперед за передние закидывает, когда по земле прыгает. А передние ноги короткие, маленькие – следок от них точечками.

Видит лесник: Егорка белку на дерево загнал, там ее и стукнул. Свалил в снег с ветки.

«Меткий парнишка!» – думает лесник.

Глядит: здесь вот Егорка подобрал добычу и дальше пошел в лес. Покружили, покружили следы по лесу и вывели на большую поляну.

На поляне Егорка, видать, разглядывал заячьи следы – малики.

Густо натропили зайцы: тут у них и петли и сметки – прыжки. Только Егорка не стал распутывать заячьи хитрости: лыжные борозды прямо через малики идут.

Вон дальше снег в стороне взрыхлен, птичьи следы и обгорелый пыж на снегу.

Куропатки это белые. Целая стая спала тут, в снег зарывшись.

Услышали птицы Егорку, вспорхнули. А он выпалил. Все улетели; одна шмякнулась. Видно, как билась на снегу.

Эх, лихой рос охотник: птицу на лету валил! Такой и от волков отбиваться может, даром им в зубы не дастся.

Заторопился лесник дальше, сами ноги бегут, поспевают.

Привел след к кусту – и стоп!

Что за леший?

Остановился Егорка за кустом, толчется лыжами на месте, нагнулся – и рукой в снег. И в сторону побежал.

Метров сорок прямо тянется след, а дальше колесить стал. Э, да тут звериные следы! Величиной с лисьи и с когтями…

Что за диковина? Сроду такого следа не видано: невелика лапа, а когтищи с вершок длиной, прямые, как гвозди!

Кровь на снегу: пошел дальше зверь на трех. Правую, переднюю Егорка ему зарядом перешиб.

Колесит по кустам, гонит зверя.

Где уж тут было парнишке домой ворочаться: подранка разве охотник бросит?

Только вот что за зверь? Больно здоровые когтищи! Тяпнет такими по животу из-за куста… Парнишке много ли надо!

Глубже и глубже в лес лыжный след – сквозь кусты, мимо пней, вокруг поваленных ветром деревьев. Еще на корягу налетишь, лыжу поломаешь!

Эх, желторотый! Заряд, что ли, бережет? Вот это место – за вывороченными корнями – и добить бы зверя. Некуда ему тут податься.

А руками разве скоро возьмешь? Сунься к нему, к раненому! Обозленный-то и хомячишко в руки не дастся, а этот зверь, видать, тяжелый: дырья от него в снегу глубокие.

Да что же это: никак снег падает? Беда теперь: занесет след, тогда как быть?

– Ходу! Ходу!

Кружит, колесит по лесу звериный след, за ним лыжный. Конца не видно.

А снег гуще, гуще.

Впереди просвет. Лес пошел редкий, широкоствольный. Тут скорей еще следы засыпает, все хуже их видать, трудней разбирать.

Вот, наконец, догнал тут Егорка зверя! Снег примят, кровь на нем, серая жесткая шерсть.

Поглядеть надо по шерсти-то, – что за зверь такой? Только неладно тут как-то наслежено… На оба колена парнишка в снег упал.

А что там впереди торчит?

Лыжа! Другая! Узкие глубокие ямы в снегу: бежал Егорка, провалился…

И вдруг – спереди, справа, слева, наперерез – машистые, словно собачьи, следы.

Волки! Настигли, проклятые!

Остановился лесник: на что-то твердое наткнулась его правая лыжа. Глянул: берданка лежит Егоркина.

Так вот оно что! Мертвой хваткой хватил вожак за горло, выронил парнишка ружье из рук, – тут и вся стая подоспела…

Конец! Взглянул лесник вперед: хоть бы одежи клок подобрать!

Будто серая тень мелькнула за деревьями. И сейчас же оттуда глухое рычание и тявк, точно псы сцепились. Выпрямился лесник, сдернул ружье с плеча, рванул вперед.

За деревьями над кучей окровавленных костей, оскалив зубы и подняв шерсть, стояли два волка. Кругом валялись, сидели еще несколько…

Страшно вскрикнул лесник и, не целясь, выстрелил сразу из обоих стволов.

Ружье крепко отдало ему в плечо. Он покачнулся и упал в снег на колени.

Когда разошелся пороховой дым, волков уже не было.

В ушах звенело от выстрела. И сквозь звон ему чудился жалобный Егоркин голос: «Тять!»

Лесник зачем-то снял шапку. Хлопья снега падали на ресницы, мешали глядеть.

– Тять!.. – так внятно опять почудился тихий Егоркин голос.

– Егорушка! – простонал лесник.

– Сними, тять!

Лесник испуганно вскочил, обернулся…

На суку большого дерева, обхватив руками толстый ствол, сидел живой Егорка.

– Сынок! – вскрикнул лесник и без памяти кинулся к дереву. Окоченевший Егорка мешком свалился на руки отцу.

Духом домчался лесник до дому с Егоркой на спине. Только раз пришлось ему остановиться – Егорка пристал, лепечет одно: – Тять, бердану мою подбери, бердану…

В печи жарко пылал огонь. Егорка лежал на лавке под тяжелой овчиной. Глаза его блестели, тело горело. Лесник сидел у него в ногах, поил его горячим чаем с блюдечка.

– Слышу, волки близко, – рассказывал Егорка. – Сдрейфил я! Ружье выронил, лыжи в снегу завязли, бросил. На первое дерево влез, – они уж тут. Скачут, окаянные, зубами щелкают, меня достать хотят. Ух, и страшно, тятя!

– Молчи, сынок, молчи, родимый! А скажи-ка, стрелок, что за зверя ты подшиб?

– А барсука, тятя! Здоровый барсучище, что твоя свинья. Видал когти-то?

– Барсук, говоришь? А мне и невдомек. И верно: лапа-то у него когтистая. Ишь вылез в оттепель, засоня! Спит он в мороз, редкую зиму вылезает. Погоди вот – весна придет, я тебе нору его покажу. Знатная нора! Лисе нипочем такой не вырыть.

Но Егорка уже не слышал. Голова его свалилась набок, глаза сами закрылись. Он спал.

Лесник взял у него из рук блюдце, плотней прикрыл сына овчиной и глянул в окно.

За окном расходилась метель. Сыпала, сыпала и кружила в воздухе белые легкие хлопья – засыпала путаные лесные следы.

В гостях у челябинцев

Рябчик

С профессором Виктором Степановичем – знаменитым охотником на рябчиков – познакомился я в Свердловске. Мы вместе отправились на охоту. С нами был еще племянник профессора – Арсений, юноша лет двадцати.

Дичи нашли много. Нам захотелось прожить в лесу несколько суток. Вопрос был в ночевке: палатки с собой у нас не было.

Виктор Степанович сказал:

– Есть тут невдалеке охотничья избушка. На Студеном ключе. Чего лучше?

Мы запрягли лошадь. На Студеный ключ приехали уже в полной темноте.

Избушку отыскали с трудом: она была мала, мала до смешного. Ее крыша еле доходила мне до плеч. Окон и трубы совсем не было. Дверь была ростом с окно.

Пока Арсений возился с лошадью, ходил за водой, мы с Виктором Степановичем собрали дров и разложили огонь в чувале. Чувал похож был на первобытный камин: камни навалены без особого порядка: над ними в крыше зияла дыра.

Дым сейчас же наполнил избушку. Запершило в горле, защипало глаза. Пришлось лечь плашмя на нары. Всего и было в избушке – чувал да нары от стенки к стенке, над самой землей.

Прошло минут десять, и огонь прогрел камни. Дым потянуло вверх.

Через час, плотно поужинав похлебкой из дичи и напившись чаю, мы легли спать. Уютно потрескивал огонь в чувале, за стенкой спокойно позвякивал колоколец стреноженной лошади. В избушке было тепло, даже жарко.

Я проснулся от тишины. Мороз. Темнота. И какое-то смутное беспокойство: слишком уж тихо.

Огонь потух. Сквозь черную дыру в крыше с черного неба пристально смотрят звезды. Холодные звезды. Была глубокая осень. Последние листья опадали с деревьев.

Что же такое? Отчего так необычайно тихо? Чего не хватает?

Ах, да: лошадь, колоколец! Надо разжечь дрова в чувале, пойти взглянуть.

Рядом Виктор Степанович быстро поднялся и зашуршал одеждой.

В это время неожиданно раздалось громкое фырканье, потом тревожное ржанье, потом тяжелый поспешный топот стреноженной лошади.

Ясно было: животное чего-то напугалось. Ржанье и топот быстро приближались.

– Арсений, вставай! – крикнул Виктор Степанович.

Через полминуты мы все трое с ружьями выскочили из избушки. Лошадь стояла у самых дверей. Ее большое тело чернело в темноте. Лошадь дрожала мелкой дрожью. Испуганно фыркала.

– Давайте разожжем огонь, – предложил я, – выясним, что ее напугало.

Арсений уже нырнул в избушку, разжег там огонь и скоро принес горящую головню.

Освещая землю, мы пошли по следам лошади. Следы подвели нас к самому берегу Студеного ключа и остановились. Тут было много натоптано.

Кругом – ни звука. Высокой горой чернел лес на том берегу ущельица.

Мы вернулись.

Решено было привязать лошадь вожжами у двери, а самим сидеть в избушке и поддерживать большой огонь – на страх врагам.

Так и сделали.

Не знаю, спал ли в эту ночь Виктор Степанович. Нас с Арсением он разбудил, когда солнце поднималось уже над деревьями.

– Ну? – спросили мы, вспомнив ночную тревогу. Виктор Степанович посмотрел на нас уничтожающим взглядом и мрачно изрек:

– Босоногий старик!

Скоро мы своими глазами убедились, что он не ошибся: на том берегу ущельица виднелись следы босоногого старика, как зовут в Сибири Михаила Иваныча. Судя по размерам следов, это был старый, большой медведь.

Я предложил дойти его по следу.

– Ну уж нет, увольте, пожалуйста, – горячо запротестовал Виктор Степанович. – Стрелок я, сами знаете, – того… И ружье у меня… этого. Да и велика ли честь попасть в такую тушу? Я уж лучше на вчерашнее место – за рябчиками.

Тут волей-неволей придется мне выдать тайну охотничьей жизни милейшего профессора. Да простит он мне это вынужденное разоблачение: раз уж начал я рассказывать быль, то рассказ велит мне там, где надо, говорить горькую правду.

Итак, среди охотничьих подвигов Виктора Степановича был один, о котором лучше было бы умолчать. Знали о нем только те, кто сами охотились с профессором.

Дело в том, что этот страстный и неутомимый охотник, этот безжалостный, бесчеловечный убийца рябчиков… в жизни своей еще ни одного рябчика не убил.

Спешу оговориться: Виктор Степанович убивал дичь, иногда помногу убивал. Бил и тетеревов, и глухарей, и куропаток, и уток. Раз при мне сильно ушиб даже небольшого оленя, которого неправильно называют у нас «дикой козой».

Не давались ему рябчики, одни только рябчики.

Придется уж мне досказать правду до конца, иначе читатели не охотники не поймут, почему рябчик был для профессора заколдованной птицей.

Рябчик – самая маленькая из наших лесных кур. А шумит он, взлетая с земли, больше здорового тетерева, почти как громадный глухарь. Стойки собаки рябчик не держит. С треском внезапно срывается у вас из-под ног выводок серых птиц, стремительно разлетается в разные стороны и исчезает мгновенно из глаз, словно никого и не было. Притаившегося на ветке рябчика различит только очень наметанный глаз.

Есть простая и легкая охота на рябчика: охота с пищиком.

Поднятый выводок рассеялся по ветвям, исчез у вас из глаз. Тогда вы спокойно садитесь на ближайший пенек и вынимаете из кармана пищик. У коварной свистульки тоненький голос рябушки-матери, сзывающей своих детей. Рябчата бегут на этот голос по земле, и их ничего не стоит застрелить.

Виктор Степанович такой способ охоты считал бесчестным. Пищика с собой никогда не носил.

Охотился Виктор Степанович так.

Бежит по лесу и ждет: вот вырвется из-под ног выводок рябчиков…

Вот вырвался. Виктор Степанович вздрогнул: как раз в эту-то минуту он немножко зазевался на волшебную красоту темно-зеленой ели среди золотистых берез.

«Бамм! Бамм!» – несутся выстрелы посередине между двумя разлетающимися рябчиками.

Влёт рябчика бить – не глухаря. Маленький рябчик летит, как оперенная стрела.

Промазал Виктор Степанович.

Рябчики расселись по ветвям, – надели шапки-невидимки. Ни одного не видать.

И опять бежит профессор по лесу, любуется на бегу яростным пиром осенних красок, ждёт рябчиков из-под ног.

И вдруг, как фонтан золотой, бьет из толпы темных елушек листва высокой пожелтевшей березы. И от восторга, от переполнившей душу радости громко затянул счастливый профессор на весь лес старую некрасовскую песню:

– «В полном разгаре страда деревенская…»

И как дошел до слов: «Многострадальная мать», – тут-то и взорвался выводок сереньких птиц. И, конечно, все уходят целы и невредимы под грохот профессорского самопала. Ружье у профессора и в самом деле «этого»: не из лучших.

Так с зари до зари бегает Виктор Степанович по лесу. Запоздалый вальдшнеп, неосмотрительный глухарь изредка попадают в охотничью сумку профессора, но стремительные рябчики, рябчики-невидимки – никогда.

Сразить на лету рябчика – заветная его мечта. Теперь читателю понятно, почему Виктор Степанович предпочел снова погнаться за рябчиками, чем идти за медведем.

Арсению пришлось остаться близ избушки: у него не было пуль на медведя, да и лошадь опасно было оставлять без призора: медведь мог вернуться.

Пошел за медведем я один.

След повел меня в темную глубину леса, вернулся к Студеному ключу и опять углубился в чащу.

Долго шел след лесом, то пробираясь сквозь чащу, то перебегая поляны: босоногий старик, увидев огонь, бежал, как трусишка-заяц. Промчался километра полтора и перешел на шаг. Прилег в густом ельнике под кокорой – вывороченной вихрем сосной. Выспался, наверно, как и мы с Арсением: земля была здорово примята.

А выспавшись, начал шататься в поисках пищи. След стал заметно свежей.

На сырой, размякшей от дождей земле голые пятки его и большие когти отпечатались отлично. Я был уверен, что никуда ему от меня не деться, и уже потирал руки.

Однако задача оказалась не такой простой.

День уже клонился к вечеру, когда я стал настигать зверя. В свежие его следы рядом с большой кучей бурелома на глазах у меня струйками набегала вода. Несомненно, зверь прошел тут только что. Я взвел курки и стал продвигаться вперед осторожнее.

В обоих стволах моего ружья были вложены страшные пули «жакан». Они свинцовым цветком на четыре части разворачиваются в теле жертвы.

Я останавливался, слушал. Нет, будто ничего. Только ветер шумит. Раз или два мне показалось, что я слышу треск в чаще. Я весь «влез» в глаза и уши: все зависело теперь от того, кто первый увидит врага. Если зверь на меня кинется из засады, я могу не успеть даже выстрелить.

Нервы мои напряглись до крайности, когда неожиданно след завернул назад.

Пристально вглядываясь в чащу, я шел вперед, медленно передвигая ноги.

Вдруг я остановился: мне показалось, что я уже был на этом месте.

В самом деле это было так: я стоял у большой кучи бурелома, где только что видел, как вода струйками наполняла свежий след медведя. Но теперь я стоял по другую сторону этой кучи.

Лежка зверя была под кучей. Упругие кустики тихонько поднимались, расправляли ветви после отпустившего их, наконец, тяжелого тела. Зверь лежал здесь, когда я проходил по ту сторону кучи по его следу. Сомнений не могло быть: он увидел меня, пропустил и пошел прочь. Я действительно слышал треск от его шагов.

Я кинулся напролом через чащу.

Выскочил из лесу к невысокому обрыву и остановился запыхавшись.

Осмотрелся.

По дну оврага текла меленькая речка. На прибрежной грязи – на этом и том берегу – явственно виднелись следы тяжелых звериных лап. И на том берегу высоко в гору поднималась хмурая темная тайга.

Зверь ушел от меня. Преследовать его не имело никакого смысла: он уже далеко. И не скоро теперь остановится. У меня едва оставалось время вернуться к своим до темноты.

Передохнув, я пошел назад, стараясь, где можно, сокращать свой путь.

Этой ночью в избушке у нас было много разговоров о медведях.

Я коротко рассказал о своей неудаче… После этого вспомнился мне разговор с одним моим ленинградским знакомым, человеком лысым, щуплым и очень книжным.

– Что вы чушь говорите о медведях! – набросился он раз на меня. – Человек с ружьем – и трусит идти на медведя! Да я ни в грош не ставлю такую безмозглую тушу. Дайте мне вот эту пукку – финский нож, и я выйду против самого страшного вашего медведя.

Я улыбнулся.

Он пришел в ярость.

– Человек! – кричал он, брызгая слюной. – Поймите вы: человек! Что перед ним зверь? Червяк, безмозглый пень. Я в тысячу раз умней его. Он ничего не может соображать, а я в любую минуту могу сообразить все. И пусть я во сто раз слабей вашего хваленого медведя, я со своим соображением, с разумом всегда успею смекнуть, как его одурачить, в какой момент, и куда ему всадить смертельный нож.

Я рассказал этот разговор товарищам.

– Хм! – произнес Арсений. – Вообще, конечно…

А Виктор Степанович, задумчиво вороша суком в чувале, мягко сказал:

– Хорошо бы, знаете, с этим вашим знакомым здесь поговорить, в уральской тайге. Я-то лично больше насчет рябчиков, я – не медвежатник.

Расспрашивать Виктора Степановича про его сегодняшние успехи на охоте я не стал: в связке дичи, висевшей на стенке, ни одного рябчика не было заметно.

Чтобы подальше увести его мысли от злополучных рябчиков, я постарался удержать разговор на медведях.

– Мой лысый знакомый, конечно, ерунда, перочинная душа. А вот знаете, какие люди живут на Алтае? Они выходят на медведя действительно с одним ножом. Правда, если не считать деревянного шара со стальными крючьями. Но ведь это не оружие.

Такой человек смело подходит к медведю и, когда зверь становится на дыбы, чтобы обрушиться на охотника, кидает ему свой деревянный шар со стальными крючьями.

Медведь – мастер ловить, Обеими передними лапами он схватывает летящий шар. И с такой силой, что стальные острия крючьев врезаются ему в ладони, как ножи. На стали – зазубрины, вроде как на крючке для ловли рыбы. Крючья назад из лапы не идут. Обе передние лапы зверя связаны, крепко соединены, и медведь, взревев от боли, падает на спину, чтобы помочь себе задними лапами.

Но едва лапа ударит по шару – и он на крюке. Последнюю, четвертую, лапу постигает та же участь.

Тогда медведь связан «по рукам и ногам». Охотник подходит к нему – и прирезает ножом.

– Так-то так, – спокойно заметил Виктор Степанович. – Да только бывает и не так. Я вот знаю случай с нашим же уральским охотником, и отличным охотником.

Жил он тем летом в деревне Коноваловой, под Билимбаем. Пошел на речку Паламиху за глухарями. Еще парнишку деревенского с собой прихватил.

С берега поднялся глухарь. Охотник ударил. Не знаю, убил ли он глухаря, только дробь-то обсыпала кусты на обрыве. А в кустах сидел медведь. Дробь и угодила ему в зад.

Медведь пришел в ярость, скатился с обрыва – и на охотника. Тот не растерялся – и второй заряд послал в зверя, с расчетом, чтобы глаза ему вышибить. И вышиб оба глаза, да немножко высоко взял: носа-то не задел.

Как полагается, взревел медведь, упал. Катается и глаза себе лапами протирает.

Охотник крикнул мальчишке, чтобы спасался. А тот давно уже на дереве сидит.

Полез и охотник на другое дерево. Ружье ему мешало. Он бросил ружье.

Медведь тем временем поднялся и вслепую – одним чутьем – пошел по следу. Учуял охотника на дереве, стащил его и задавил.

– Медведь редко бросается на людей, – вставил Арсений. – Даже раненый. Вот медведицу с медвежатами я не очень желал бы встретить.

Тут мне припомнился случай, рассказанный мне моим покойным другом.

Друг мой – революционер, погибший в гражданскую войну от рук белогвардейцев, – был человек железного характера, железной воли. Как-то я восторженно похвалил эту черту в нем.

Он усмехнулся.

– Брось, – сказал, махнув рукой. – Такая ли воля бывает.

В девятьсот тринадцатом пришлось мне бежать от царских шпиков в уральские леса. Грозила виселица.

Товарищ со мной был, тоже нелегальный.

Жили мы в пещере, как звери, питались ягодой и чем придется.

Раз пошел мой товарищ – звали его Викентий – в лес по малину, а я остался в пещере, сапоги починять.

Смотрю, что-то долго нет Викентия.

Вышел я, стал кликать. Не отвечает.

Встревожился я: мало ли что может быть в лесу, без оружия он ушел. Зверь может подмять, урядник мог на след наш напасть, захватить.

Хотел уж идти разыскивать. А он тут и идет. Бледный, вижу, как мертвец, и еле передвигает ноги. Руки свои перед собой несет, как вещь.

И вижу: на руках голое мясо, кожа спущена, свисает с пальцев клочьями.

Кинулся я к нему, спрашиваю: «Что, что с тобой?»

Он ничего не сказал, упал мне на руки в обмороке.

Уложил я его, кожу натянул на руки, перевязал, как умел.

Через час очнулся он. Рассказал, как было дело.

Близ малинника наткнулся он на медведицу с медвежатами. Медвежатки глупые, несмышленыши: подбежали к нему, давай играть. А медведица поднялась на дыбы, рявкнула, а ударить боится: своих же детей зашибет.

Викентий стоит, не шелохнется. Медвежата ему руки лижут. Наверно, думали – материнскую грудь сосут. И не маленькие уж: месяцев пяти. На языке наждак будто. Больно рукам. А оттолкнуть нельзя. Так рассудил: пусть лучше больно, чем закричать или бежать – разом медведица кончит. А медвежата, может, и отстанут.

Стоит Викентий. Не пикнет.

И спустили ему медвежата кожу с обеих рук, как перчатки стянули.

И убежали, увела их мать. Викентий жив остался.

Так вот это – воля, характер. Я бы не стерпел, думаю, закричал бы.

– Да уж, – позевнув, сказал Виктор Степанович, – хуже нет – медведицу с медвежатами повстречать. Я бы убежал. А вот рябчика я завтра непременно убью: способ такой придумал. Как поднимется выводок, я за одним следить буду. И уж я его, шельму, угляжу, куда он сядет.

На этом мы и заснули.

В тот раз больше ничего особенного не случилось на Студеном ключе. Я не нашел медведя. Виктору Степановичу так и не удалось добыть рябчика. Вернулись мы в Свердловск и скоро расстались: я уехал домой в Ленинград.

И вот вчера, через год после описанных событий, получаю вдруг письмо с Урала.

И не раз кровью обливалось мое сердце при чтении этого письма. Вот что я из него узнал.

Этой осенью профессор снова решил попытать счастья в лесах на Студеном ключе.

С ним поехал Арсений, а меня заменил брат Виктора Степановича, доктор и тоже охотник.

Ночевали в той же лесной избушке, что и мы.

Виктору Степановичу долго не везло: все не мог поднять ни одного выводка рябчиков, бегал по лесу без выстрела.

В одном месте заметил медвежий след, и не очень старый. На всякий случай вложил в левый ствол разрывную пулю «жакан», а в правом оставил мелкую дробь – на рябчиков. И, конечно, через минуту забыл про медведя: рябчики увлекали его куда больше.

Забрался в чащу, выбрался из нее и увидел перед собой громадный ствол лежащего на земле дерева.

Подумал: «Под ним, наверно, сидят рябчики. Вот непременно сидят».

И осторожно, стараясь не шуметь, взобрался на колодину.

Первое, что он увидел, был медвежонок. Рядом поднялся другой. Оба встали на дыбашки.

«Медведица?» – успел только подумать Виктор Степанович и тут же ее увидел: она мирно спала на разрытом муравейнике под колодой – лохматая, бурая.

Виктор Степанович сообразил, что отступление для него невозможно: сзади чаща.

Один из медвежат тоненько рявкнул.

Медведица мгновенно поднялась, повернулась…

Виктор Степанович, ничего больше не соображая, выстрелил ей в грудь почти в упор сразу из правого и левого ствола.

Что-то громадное, жаркое, громко ревущее ударило его в грудь – и все.

Доктор, брат Виктора Степановича, услышав оглушительное близкое «тара-рах!» – крикнул брата раз и два. В другой стороне откликнулся Арсений. А Виктор Степанович не отозвался.

Доктор встревожился, кинулся через ельник туда, где были выстрелы.

Страшная картина внезапно открылась ему: в двух шагах – громадная колодина и на ней – повисший во весь рост медведь.

В один миг доктор прикинул в мыслях: «Виктор под ним… стрелять невозможно».

Он выхватил охотничий нож, прыгнул на медведя и всадил ему нож под лопатку.

Медведь не шевельнулся.

Доктор отпрянул, обезумевшими глазами уставился на зверя.

У медведя были вышиблены оба глаза и напрочь снесен нос. В груди, рядом с застрявшим в ране ножом, зияла черная от крови рана.

Доктор понял, что он вонзил свой нож в мертвого уже зверя.

«Где же Виктор?»

Виктора Степановича не было.

Вдруг острые когти резнули ногу доктора сквозь толстые брюки. Он обернулся.

Порядочного роста медвежонок опирался об его ногу. Доктор выхватил нож из мертвой медведицы и с размаху ударил им медвежонка.

Медвежонок упал.

– Виктор!.. Витя! – закричал доктор.

В ответ ему прогремел выстрел, потом другой.

– Сюда, сюда! – крикнул доктор.

Из-за деревьев выскочил Арсений с дымящимся ружьем. Юноша волок за собой убитого медвежонка.

– Виктор убит… Пропал! – в неистовстве закричал доктор и бросился через колодину к племяннику.

Подошвы скользнули по гладкому стволу, и доктор ухнул в яму.

Падение не оглушило его: в яме была мягкая гниль и густой папоротник. Доктор нащупал под рукой что-то твердое, теплое.

Кость… нога!

Он быстро раздвинул папоротник: на дне ямы лежал Виктор Степанович. Все лицо и вся грудь его были залиты кровью.

Доктор приник ухом к сердцу.

– Жив! Арсений, сюда!

Вдвоем они с трудом выволокли из ямы отяжелевшее тело Виктора Степановича.

Арсений сбегал на Студеный ключ. В кожаной шапке принес воды.

Наконец Виктор Степанович глубоко вздохнул и открыл глаза.

– Долго же я спал, – сказал он, – совсем как в сказке. – И, вдруг забеспокоившись, спросил: – Который час? Пора, а то здесь ночевать придется.

Он ничего не помнил: ни как увидел медвежат и медведицу, ни как выстрелил, ни что потом было.

Доктор отер кровь с лица брата, распахнул одежду на груди и с удивлением увидел, что Виктор Степанович нигде не ранен: кровь на нем была кровью убитых над ним медведей.

Пока Арсений поил дядю студеной ключевой водой, доктор осмотрел медведицу. Ее глаза и нос были разбиты зарядом мелкой дроби. Пуля вошла в грудь и разорвалась в сердце.

И с этими-то ужасными ранами зверь успел взлететь на высокую колодину и ударить врага с такой силой, что тот грохнул в яму, как легкая чурка, – и все забыл.

«Теперь я припомнил все, – кончает свое письмо Виктор Степанович, – вплоть до момента, когда стрелял. Дальше – пустота, пока не очнулся в объятиях брата.

Пишу вам, сидя на пне у избушки, прильнувшей к косогору Студеного ключа. Кругом мало что изменилось: тот же суровый и темный лес, да луга, да ширь поднебесья; рябчики в желтой листве березы, глухари на черных в золоте лиственницах.

Странно мне, что я убил такого громадного и страшного… рябчика. Я же не за ним шел. И мне кажется, что это не я, а кто-то другой.

Меня по-прежнему влекут рябчики, одни только рябчики. Признаться вам, я до сих пор ни одного не добыл. Но я не теряю надежды: не всегда же мне бить медведей.

Когда-нибудь убью и рябчика».

Ласковое озеро Сарыкуль

Чуть обозначились в степи темные купола стогов, когда мы с Виктором Степановичем подошли к берегу большого озера Сарыкуль.

– Значит, вот восток, – сказал профессор, указывая на оранжевую полоску зари. – Мы на южном берегу озера, идти будем прямо на север. Солнце на восходе с правой руки. Впрочем, я буду следить по компасу, – у меня с собой.

Двустволка в руках. Патронташ полон, и все карманы набиты патронами: стрельба предстоит немалая. Приятно бодрит осенний холодок.

Кажется, прямо с берега начинаются камыши: воды чуть-чуть. Темно, но в темноте чувствуешь вокруг себя многообразную жизнь. То зашуршит камыш, то всплеснет вода, то с громким кряканьем подымется невидимая утка, и со всех сторон ответят ей встревоженные товарки.

Особенно горячит охотника вот это предрассветное время. Видишь блеск воды, различаешь темные острова камыша, знаешь, слышишь, что кругом тебя кишит дичь, а стрелять не в кого: за пятнадцать шагов не видно в сумерках птицы.

Ну, отойти подальше от берега, пока темно: глубже в озеро – больше и больше дичи. Главное, риска никакого, смело шагай вперед и вперед. Можешь часами идти от берега: все будет вода по колено, чуть выше, чуть ниже. Нигде не ухнешь в предательскую яму, нигде не оступится нога, и только разве по собственной неосторожности зачерпнешь теплой водицы в широкие раструбы охотничьих сапог. Такое уж ласковое озеро Большой Сарыкуль. Как огромная плоская тарелка, врытая в степь. От берега все камыши, камыши, а посредине плес – десятки километров в длину, десятки километров в ширину – целое море.

И безбурное море: слишком мелко, чтобы самый сильный ветер мог поднять высокую волну. А и вздынет вал – не прогонит его сквозь частые заросли камышей: волна запутается в них, как рыба в сети, разобьется на ручейки, разбежится вся мелкими струйками, затихнет, замрет.

Одним словом, такое море, что, кажется, сам не захочешь – ни за что не утонешь в нем.

Однако что-то уж очень медленно светает. Уж час идем вперед, а все стрелять нельзя.

– Виктор Степаныч?

– Хоу!

– Давайте постоим, покурим.

– Да, надо подождать.

От вспышки спички еще гуще сумерки. Виктор Степанович рядом попыхивает папироской, видно, как что-то перекладывает из кармана в карман.

«Бульк!»

– Что у вас упало, Виктор Степанович?

– Тсс!.. Слышите, слышите?

Вдали, но с каждым мгновением слышней и слышней: «Конг, гонг, конг!» – налетают дикие гуси – казарки. Папиросы летят в воду.

– Сюда, правей, правей! – Виктор Степанович, с плеском разбрызгивая воду, бежит наперерез невидимой стае.

Нет, высоко пролетели, не углядишь в мутном небе.

– Виктор Степанович, у вас ведь что-то упало в воду. Надо пошарить тут на дне.

Он подходит. Но вдруг почти из-под ног у него с отчаянным криком захлопала крыльями утка. Вижу два быстрых, длинных огня, слышу два оглушительных выстрела и торжествующий голос профессора:

– Ага, попалась, каналья!

– Подобрали?

– Готово дело!

– Так идите, поищем вашу вещь.

– Шут с ней! Это, наверное, перочинный ножик. Видите, уже стрелять можно. Идемте.

Чудак! Такой всегда спокойный и рассудительный дома, профессор совсем перерождается на охоте. Горячится, как мальчик. Готов все бросить и десять километров пробежать за одной уткой.

Идем вперед. В самом деле, на близком расстоянии стрелять уже можно. Взвожу курки. Сейчас начнут подниматься утки, и сам не заметишь, как рука вскинет ружье к плечу, глаз поймает на мушку темный силуэт птицы – и смертоносная струя дроби вылетит из ствола. А в ожидании этой минуты волнуешься, все думаешь, как бы не прозевать взлета, да ловко ли ляжет приклад в плечо, да не забыть бы взять переда, не обзадить по стремительному чиренку. И как ни ждешь, всегда все-таки неожиданно утка вырывается не спереди, а где-нибудь справа, слева или даже сзади.

И вот – началось. Каждую минуту то тут, то там слышатся взлеты. Утки вырываются из-под ног. Утки стадами носятся над озером. Сколько их тут!

Прохладный туман кутает камыши в сырость и сумерки. Внезапно чуть не вплотную на тебя направляется ошалелый от пальбы табунок быстрокрылых чирят, нырков или грузных крикушек. Рука и глаз без спроса делают свое дело. Стреляешь раньше, чем успеешь сообразить расстояние, быстроту полета. Торопливо подбираешь убитых уток, перезаряжаешь ружье, достреливаешь ныряющего подранка.

Забылось время, не думаешь, куда идешь. Отмечаю только, где Виктор Степанович, в какую сторону подвигается, чтобы не выстрелить туда, не задеть его дробью.

Кругом заросли камыша – как рощи, озеринки чистой воды – как лужайки. От рощи к роще, от лужайки к лужайке – и всюду ждут тебя новые неожиданности.

Притаился в камыше – и жду. Вижу: крутя головой во все стороны, осторожно выплывает из камыша черная птица – кашкалдак. Ростом с утку, на голове лысина, клюв острый.

За ней показывается другая, третья, четвертая.

А над камышами, как бабочка, закидывая крылья высоко над спиной, медленно и бесшумно летит большой коричневый болотный лунь.

Вот он заметил лысую и сразу пошел книзу, стелет над самыми камышами и уже почти не двигает крыльями.

Но и кашкалдак-лысуха заметила его. Со стоном и хныканьем она кидается в спасительные заросли камыша. За ней сейчас же исчезают товарки.

Лунь дал круг над озеринкой и чуть не наткнулся на спокойно стоящую по колено в воде, большую, горбатую серую цаплю.

Цапля только повернула к нему острый, как штык, нос, – и лунь сразу взмыл, пошел выше и как раз в мою сторону. Не по его когтям добыча.

А цапля опять как будто заснула. Длинная шея вопросительным знаком повалена на спину и грудь, клюв снова глядит в воду.

Миг – и быстрей мысли развернулась шея, клюв, как копье, вонзился в воду. Миг – и клюв уже высоко в воздухе, раскрылся, и в нем блеснула и пропала серебристая рыбка.

Лунь налетел на меня совсем близко. Рука и глаз помимо сознания делают выстрел.

И цапля тяжело поднимается над камышами. Летит, вытянув назад прямые ноги, медленно махая точно из тряпок сшитыми, смешными крыльями.

Рука и глаз.

Я не хотел стрелять цаплю: зачем она мне? Но рука и глаз сделали свое дело: вот она лежит на воде, распластав широкие круглые крылья и грозно направив штык-клюв в мою сторону.

Что-то уж очень я разгорячился с этой сумасшедшей пальбой по уткам. Довольно мне дичи, все равно больше и не унесешь. Надо в себя прийти. Вон и профессор бахает и бахает, тоже вошел в раж.

– Хоу, Виктор Степанович!

– Здесь.

– Пора шабашить. Давайте закусим.

– Можно.

Он подходит, весь всклокоченный, без шапки.

– Шапка-то где?

– Шапка? Хм… наверное, я ее куда-нибудь в карман… Да нет, нету… А я и не заметил.

Что шапка, когда в сумке добрый десяток уток и карманы еще полны патронов!

Профессор весело смеется над своей потерей.

Теперь хорошо бы присесть, дать отдых усталым ногам, сбросить с плеч тяжелые сумки с добычей. Но мы по колено в воде, и на озере нет островов.

– Кончать надо охоту, – беспомощно озираясь, говорит Виктор Степанович. – Где у нас солнце-то?

Странное дело: солнца на небе не оказалось. Только тут мы припомнили, что все утро оно и не показывалось. Светлая полоска зари давно исчезла, и все небо было освещено, как толстый матовый колпак, где-то внутри себя утаивший невидимый источник света.

Это не были облака. Какая-то мутная мгла покрывала весь небесный свод: то ли где-то далеко, может быть в Уральских горах, горели леса. Невозможно было определить, в какой стороне неба находилось солнце.

– Надо по компасу, – слегка встревоженным голосом говорит Виктор Степанович.

Он принимается шарить по карманам. Карманов в профессорском пиджаке немало, и поиски заняли минут пять.

Потом профессор во второй раз тщательно обыскал себя.

Потом я держал перед ним свою шапку, и он складывал в нее по очереди каждую вынутую из кармана вещь.

В карманах профессора нашлось что угодно, начиная от часов, перочинного ножа, карандашей и кончая неизвестно как попавшим сюда крошечным кукольным башмачком, баночкой с клеем, камешками, ракушками, птичьими перьями.

Но компаса там не оказалось.

Профессор оторопело уставился на меня.

– Бульк! – сказал я и показал на воду. – Помните, еще в темноте?

– Хм… Возможно. А я думал, это перочинный ножик.

Он еще раз безнадежно огляделся и вдруг внимательно посмотрел на меня.

– Скажите, вам ничего не припомнилось?

– Бухгалтер, – ответил я.

Коротенькую, но очень сильную историю про бухгалтера рассказывали нам в Еманжелинке, на берегу ласкового озера Сары-куль.

В свободное время бухгалтер любил пройтись по озеру – пострелять уток.

Раз, после выходного дня, он не явился на работу. Его не оказалось и дома.

Видели, как он прошел вчера с ружьем в сторону озера.

Через две недели на него случайно наткнулись рыбаки. Они заметили белую бумажку, привязанную к камышам. Вокруг плавали наполовину разложившиеся утки. Под ними, на дне, чуть прикрытый мелкой водой, лежал мертвый человек с ружьем.

На бумажке аккуратным бухгалтерским почерком было нацарапано:

«Блуждаю восемь дней. Пробовал и на юг и на север – везде только камыши. Ел сырых уток. Патроны все вышли. Я очень устал. Больше не могу».

– Везде только камыши, – тихо, задумчиво произнес Виктор Степанович, – и вода.

Вода ласково лижет черную кожу сапог. В воде весело всплескивают рыбки. Вода блестит среди желтых камышей, куда ни взглянешь.

Если бы мы были в лесу! Там по замшенным с одной стороны деревьям, по муравейникам, по птичьим гнездам так привычно и просто находить север и юг.

– Надо идти, – говорю я. – Если не ошибаюсь, мы пришли вот с этой стороны.

– А если ошибаетесь, – спокойно возражает профессор, – то с нами будет то же, что с уставшим бухгалтером. Постоим и подумаем.

Что думать? Часов пять-шесть мы шагали от берега. Берег далеко. Если даже мы сразу пойдем правильно, мы только затемно будем дома.

Или, правда, стоять на месте? Может быть, хоть под вечер выглянет солнце. Ночью небо может очиститься, высыплют звезды. В хвосте созвездия Малой Медведицы загорится Полярная звезда. А как мы обрадуемся солнцу утром! А питаться можно и сырыми утками.

– Согласен, – говорю я. – Чтобы не зайти еще дальше от дома, будем ждать здесь солнца или звезд.

Профессор не слышит меня. Он стоит и неподвижно смотрит в воду. Сейчас он удивительно похож на маленькую большеголовую птичку – зимородка. Направив острый клюв вниз, зимородок так же вот глубокомысленно уставится в воду и молчит.

Вдруг встрепенулся.

– Эврика! – говорит профессор, ударяя себя ладонью по лбу. – Нашел! Только это будет ваше дело – спасти нас от смерти. Если бы мы были в горах, то должен был бы вас вывести я. Ископаемые богатства – моя специальность – дали бы мне руководящую нить. Человек должен уметь использовать свою специальность во всех случаях жизни. Во всех затруднениях. Используйте здесь вашу – и мы спасены.

– Интересная лекция, – говорю я довольно грубо. – Откровенно говоря, я охотнее послушал бы ее на сухом берегу, у костерка, за кружкой горячего чаю. Что вы имеете в виду, какая моя специальность?

– Птицы, – просто отвечает профессор.

– Птицы?

Как нам могут помочь птицы? Что он хочет сказать?..

А впрочем… это же так ясно!

– Потрясающая идея! – говорю я весело. – Теперь слушайте мою лекцию. Только на ходу: я поведу вас на юг, прямо к дому.

Я присмотрелся к пролетающим над нами стаям, выбрал направление и пошел вперед. На ходу я с важным видом, профессорским голосом излагал Виктору Степановичу всем известные истины: что осенью многие виды птиц собираются в стаи; что стаи перелетных птиц тянут осенью с мест гнездовий на зимовки – с севера на юг.

Высоко над нами с гоготом пролетали табуны диких гусей, большие стада уток. Раз даже вдали медленно проплыл серый треугольник журавлей. Нам уже не хотелось стрелять птиц, мы благодарными глазами следили за их полетом.

Четыре часа мы без отдыха шлепали по воде. Солнце не показывалось, и нигде не было видно никаких признаков близкого берега.

Последние часа полтора мы с Виктором Степановичем не обменялись ни словом.

Есть в дневном и вечернем полете некоторых птиц разница.

Сокола и вороны, замечал я не раз, почему-то мелко-мелко семенят крыльями на вечерней и утренней заре.

Перелетный сокол сапсан пролетел невдалеке от нас. И я видел, что он летит по-вечернему.

По каким-то своим признакам и Виктор Степанович узнал, что приближается ночь. Он остановился и хмуро сказал:

– Скоро начнет темнеть. Я отказываюсь идти дальше.

– Сил нет?

– Не сил, а веры. Ваши птицы надули. Сейчас скажу, где наша ошибка.

Он раскурил папиросу и продолжал:

– Конечно, общее направление перелета многих птиц – с севера на юг. Но вам отлично известно, что стаи летят не по прямой. Часто делают углы, зигзаги, повороты. И над этим громадным озером они могут лететь по разным направлениям. Так оно и есть на самом деле. Утки, казарки кормятся здесь. Я давно слежу, прямо мы идем или нет. И, по-моему, мы кружим.

По-моему, мы теперь дальше от берега, чем были час назад.

Сказать правду, и мне в голову не раз приходила эта страшная мысль. Все-таки я пробовал защищаться.

– Журавлям нечем кормиться здесь, они ни за что не опустятся в воду. Они идут здесь напроход – прямо с севера на юг.

– А почему до сих пор не видно даже стогов на берегу?

На этот вопрос я не мог ответить. Если бы мы действительно шли прямо на юг, то уже давно должны были очутиться на берегу.

Я с отчаянием посмотрел вокруг.

Вода и камыш, камыш и вода. Табуны уток снуют над камышом по всем направлениям. И еще стайка каких-то птиц, часто-часто махая крыльями, летит прямо на нас. И никак я не пойму, что же это за птицы такие?

Они близко. Я снимаю ружье с плеча. Рука и глаз делают свое дело. Но на этот раз им помогает и разум: я тщательно выцеливаю, рассчитав расстояние до птиц и быстроту их полета.

Смертоносная струйка свинца, с огнем и громом вылетев из ружья, пересекает их полет. Одна из птиц растрепанным комочком падает в воду.

Я поднимаю ее и показываю Виктору Степановичу.

– Это кукша, – говорит профессор. – Зачем вы ее загубили, зверь-человек?

Он прав. Так называется эта рыхлая птичка ростом с дрозда, вся в кофейном и ржавом пере и с хохолком.

Но я говорю:

– Нет, дорогой профессор, вы ошибаетесь. Это не кукша, это попугай. И хоть у нас на севере не бывает попугаев, для нас с вами это все-таки настоящий попугай.

– Вы обалдели от усталости и страха, – не совсем вежливо говорит Виктор Степанович, – у вас мысли путаются.

– Нет, профессор, не путаются. Я вам докажу это, если вы согласитесь еще немножко пройти со мной. Чуть-чуть – ровно столько, чтобы выслушать маленькую подробность о том, как была открыта Америка Христофором Колумбом.

– Чепуху вы порете, – сердито бурчит профессор. Но все же идет за мной.

– Христофор Колумб, – начинаю я новую лекцию, уверенно шагая по воде, – обманул королеву Изабеллу Испанскую. Уверил ее, что он откроет для нее Антилью – легендарную страну, где золота больше, чем грязи. Королева ему поверила. А он сам не знал, куда плывет.

Он завел корабли в неведомую часть океана. Замучил экипаж.

Матросы начали бунтовать. Колумб вышел на палубу, чтобы отдать приказ повернуть назад в Испанию.

Вдруг он увидел стайку птиц, летящих мимо корабля. Это были попугаи.

Колумб сразу переменил свое решение и велел держать курс по направлению полета стайки.

Через час дозорный крикнул с вышки:

– Земля!

И все увидели берег. Это и была Америка.

– Вполне понятно, – сердито говорит Виктор Степанович. – Попугай – настоящая лесная птица. В океане ей делать нечего. Стая попугаев, занесенная в море, должна была лететь к суше, это всякий знает.

– И наша маленькая лесная ворона – кукша, – говорю я, – совершенно сухопутная птица. В большом озере, в ласковом Сарыкуле, ей делать решительно нечего. Стайка просто пересекала какой-нибудь заливчик. Кукши летели к берегу. В этом вы можете убедиться сами, если внимательно посмотрите вперед, в том направлении, куда летела стайка и куда мы с вами теперь шагаем.

Профессор посмотрел и вдруг полным голосом затянул:

Так слава моряку-у
Колумбу Христофору:
Открыл Америку-у
Как раз, выходит, впору!

Впереди за камышами в быстро надвигающихся сумерках показались темные купола стогов.

Под землей

Сказать правду, неохота мне было лезть под землю. Я с тоской глянул кругом.

Полдневное солнце стоит над степью. Ковыль до земли клонит свои пушистые султаны. И под синим-синим куполом, борясь с ветром, летят три медленные стрелы: три длиннохвостые сороки. Эх, хорошо!

– Виктор Степаныч, – говорю я своему спутнику, – и куда вы меня тащите? Птиц я люблю и зверей. Когда их нет кругом, мне скука смертная, гроб.

– Ну-с, – весело отвечает профессор, – покажу вам там такое зверье, какое вам и не снилось. Нечего трусить! Идем!

Впереди перед нами двое рабочих поднимали короткие толстые бревна и опускали их в небольшую яму. Кругом степь, как всюду под Челябинском, – вперемежку с колками: березовыми рощицами.

– Одну минуту, – обратился Виктор Степанович к рабочим. – Дайте спуститься.

И ногами вперед полез в черную яму. Его пестрая рябчикового цвета кепка исчезла под землей. Рабочие вопросительно смотрели на меня.

Медлить было неловко: могли подумать, что я в самом деле со страху.

Я стал на четвереньки задом к яме, нащупал ногой деревянную перекладину и стал осторожно спускаться вниз.

Яма оказалась как труба. Шатучие перекладины висячей лесенки вздрагивали и качались надо мной. Я лез и думал:

«А ну, сорвусь? Сколько времени лететь вниз? Может, тут до самого центра Земли дыра».

Но под ногами уже твердое – грунт. Площадочка. На ней в беспорядке – стоймя и лежа – короткие толстые бревна.

Глаза уже привыкли к полутьме. И вижу: в углу опять дыра и лесенка. Голос Виктора Степановича оттуда, из черноты, говорит:

– Это называется «дудка». Сейчас колено – и опять дудка. Давайте проворней.

– Дудки! – говорю я сердито. – Обезьяна я вам, что ли, карабкаться по таким лестницам? Лезем назад, вверх, и ведите меня к лифту.

Но тут сверху кричит рабочий:

– Спускать, что ли?

– Стой, стой! – кричу я поспешно. – Мы еще тут, обождите.

Быстро запихиваю себя в дыру, спускаюсь, спускаюсь – и вот, наконец, грунт.

Оказывается: черный коридор, низкий, узкий. Горит в потолке электрическая лампочка, дальше еще и еще.

– Штрек, – объясняет Виктор Степанович. – Мы в верхней, уже до конца выработанной лаве.

Глухо, как в бочке, отдают черные стены его слова и топот наших сапог по каменному полу. Нора и нора. Сбоку в стене отнорок – куда-то вниз.

– Сюда, – говорит Виктор Степанович.

По узкой, сырой, скользкой норе сползаем вниз на собственных «салазках». Уклон большой. Тьма кромешная. Снизу доносятся глухие удары, все нарастающий гул.

Вдруг мне так захотелось выпрямиться! Приподнялся на руках– и бац головой о камень!

Тоска охватила меня. Отталкивался, полулежа, руками, скользил куда-то дальше и дальше вниз. Но уже не верил, что выберусь: внизу грохочущая тьма, как бездна.

Не знал уж, минуты ползем или часы. Наконец под ногами забрезжил свет.

Вслед за Виктором Степановичем я вывалился из норы в какую-то небольшую глухую комнатенку, или, просто сказать, расширение норы.

Под низким – рукой достать – потолком горит единственная лампочка, в стене сбоку – ниша: забой. В забое лежит на спине чумазый человек, равномерно бьет обушком[3] над собой в потолок. Время от времени куски черного угля падают к его вытянутым ногам.

Другой рабочий стоит в углу «комнаты», сгребает лопатой уголь, сталкивает его вниз: там продолжение норы. На нас никакого внимания.

Снизу – грохот и тьма.

«Куда же мы дальше?» – думаю я.

– Такое вот расширение, – поучительно говорит Виктор Степанович, – называется печью. Шахта не вся еще механизирована. Это один из забоев, где уголь добывается простой мускульной силой. Отсюда начинается конвейер для спуска угля к вагонеткам. Дальше мы по нему полезем.

Человек с лопатой предупреждает:

– Гляди, за провода не задень. Вдарит.

– А где они? Сверху, с боков?

– А разно…

Веселое дело! Того и гляди, хватит током в руку или в голову.

Мы опять в забое. Чувствую себя еще хуже: выпрямиться по-прежнему нельзя, а тут еще пол под тобой ерзает, качается. Это желобья конвейера, железные такие корыта, заходящие одно на другое. Желобья не сильно, но беспрерывно движутся: взад-вперед, взад-вперед. Угольный щебень стряхивается с одного желоба на другой, быстро ползет под уклон.

И еще эти провода. Где они? Не видно их в полутьме.

Перебираюсь с желоба на желоб. Это как беспрерывная цепь санок с горы донизу. С санок на санки – все ниже и ниже – да так, что спины не выпрямить и локтя не отставить: провода ведь.

Вдруг внизу – издалека – голос Виктора Степановича:

– Осторожно, смотрите! Самое опасное место.

И сейчас же стукаюсь лбом обо что-то деревянное. Кусочек угля падает мне на живот.

Бессознательно хватаю этот кусочек и зачем-то пихаю в карман.

Но провода-то где же, провода?

Светлее. Видны бревенчатые рамы – крепи, подпирающие потолок. Как ребра на скелете змеи. Несколько обломков торчат с потолка. Об один из них я и стукнулся лбом.

А проводов все не видно.

Да черт с ними: не убьет же током.

Ну, вот и следующая печь. Встаю на ноги рядом с Виктором Степановичем.

Тут же двое рабочих, и Виктор Степанович озабоченно им говорит:

– Да там же у вас шесть крепей проломилось. Немедленно дайте знать.

Один из рабочих молча поворачивается и, согнувшись, исчезает в норе.

Я достаю из кармана кусок угля, упавший на меня в том месте, где надломлены крепи. Так вот откуда мне грозила опасность! Если бы от толчка головой лопнула крепь, не этот жалкий кусочек угля, а тысячи, тысячи тонн земли сплюснули бы меня с такой же легкостью, как гора, рухнувшая на таракана.

Виктор Степанович бесцеремонно выхватывает уголь из моих рук.

– Это вы откуда взяли? Смотрите, это же водоросль, настоящая ископаемая водоросль!

И правда: на тусклой поверхности угля виден отпечаток растения: стебелек, листья по бокам.

[3] О б у ш о к – особого вида молоток на длинной ручке.

И в увлечении Виктор Степанович переносится за миллионы лет назад – в юрский период истории земли. И бородатый забойщик, опустив обушок, с удивлением слушает страстный рассказ профессора.

Мгновенно, как в кино, слетает прочь потолок над нашими головами: толща в десятки метров угля, горных пород, почвы.

Вдали, на западе, встает каменная стена Урала. Кругом вырастает лес невиданных деревьев. Вот хвощ – колено в колено – толщиной в несколько обхватов, высотой в многоэтажный дом. Вот папоротник, как пальма, веером в высоте раскинул свои кудрявые, пышные листья.

А сами мы погружаемся на дно озера. Водоросли кругом – точь-в-точь такие, как та, что отпечаталась на моем кусочке угля.

Водоросли растут и умирают, на их месте вырастают новые и в свой срок умирают, падают на дно, истлевают. И превращаются в ил.

Ила все больше и больше. Он доходит нам до колен, до груди, до плеч и покрывает с головой.

Тысячелетиями метр за метром растет на дне озера толща сгнивающих водорослей – ил.

А с севера медленно-медленно на нас надвигается море. В сотни ли тысяч лет, в миллионы ли, но оно прокатывается над нашими головами, и на западе берег его – Урал.

Гигантские хищные ящеры плавают в этом страшном море и зубастые акулы. Трупы их падают на дно, тела истлевают в илу.

Всей страшной тяжестью своей море давит на дно, прессует ил.

Но море не вечно. Море отходит и сохнет.

Миллионы лет.

И вот над нашими головами выходит наружу ил. Равнодушный ветер заносит его песком. Урал, разрушаясь, заливает его своими каменными отбросами.

Миллионы лет. Суша кругом.

И над нашими головами вырастает другая трава, другой лес – все больше и больше похожий на наш теперешний. Бродят звероподобные люди. Бродят клыкастые мамонты, мохнатые носороги.

Проносится каменный век, век бронзовый и железный. Но десятки тысяч лет еще люди не знают, что здесь в глубине, под ногами у них.

Не подозревают, что там давно готовы залежи веками спрессованных сухих и твердых трупов древних растений. В чудесной лаборатории земли и времени произошла эта переработка когда-то живых тел в сухое и твердое топливо, в руках человека – богатейший источник огня и жизни.

И вот мы стоим в шахте, вырытой машинами, и держим в руке кусочек каменного угля – почерневшего, окаменевшего в веках ила, – случайно сохранивший на себе отпечаток водоросли, росшей миллионы лет назад в страшных водах юрского озера.

– А если выпадет счастье, – заканчивает Виктор Степанович, – можно найти и зубы акулы: бывает, попадаются они здесь, в буром челябинском угле… Ну, пошли дальше.

Забойщик поднимает свой обушок, а мы ныряем в грохочущую нору.

Долго спускаемся, и мне уже кажется – не на конвейере, а на «машине времени», и не в глубь земли, а темную толщу тысячелетий. И когда впереди меня расширилась нора, стало светлей, – я увидал перед собой странное чудовище: блеснула длинная зубастая голова пилы-рыбы, а за ней тело, только не рыбье тело: холодный плоский панцирь большой черепахи.

Виктор Степанович стал на него обеими ногами, деловито пояснил:

– Это тяжелая врубовая машина. Действует электричеством или сжатым воздухом. Вот этими самыми зубьями она врубается в породу, в уголь.

Он показал на узкую голову пилы-рыбы, приставленную сбоку к черепахе.

– У нее режущие зубы укреплены на бесконечной цепи, а цепь надета на шестерни, как у велосипеда. Стальные зубы, врезаясь в уголь, тащат за собой всю машину.

Виктор Степанович соскочил с панциря железной черепахи и любовно похлопал ее по спине.

– Я особенно люблю это животное. И не только потому, что оно заменяет десятки рабочих с обушками, а потому, главное, что оно спасает этих рабочих от большого риска. Видели, как лежат шахтеры в забоях? Того и гляди, подрубленный уголь всей массой рухнет на них и погребет под собой. Врубовая машина, въедаясь в стену, идет впереди человека. Она принимает удар на себя. Это хорошее животное.

Мы отправились дальше и скоро попали на поперечный штрек. Сюда конвейер ссыпает свой уголь. Куча черной блестящей щебенки растет на глазах.

Виктор Степанович остановился. Я хочу пройти дальше, но он схватывает меня за рукав, тянет назад. И вдруг вижу: слева из темноты по поперечному штреку лезет мимо меня железная морда с открытой беззубой пастью.

Она скользит вверх по куче угольного щебня, с нее вниз. Остановилась, перевернулась – и вдруг с лязгом бросается на кучу, опрокидывает ее в себя, в свою широко разинутую пасть.

И, срезав кучу, с грохотом тащится назад, мимо меня.

– Скрепер, – говорит Виктор Степанович. – По-английски – скребок. Спереди и сзади у него прикреплены стальные канаты. Приводится в движение электрической лебедкой. Тащит угля сразу на целую вагонетку. Теперь проходите скорей, пока он не вернулся за новой порцией.

Мы продолжаем спускаться.

И вот, наконец, выходим в просторный квершлаг. Это – горизонтальная выработка, проведенная по пустой породе «вкрест» простирания пласта от рудничного двора, где подъемная машина.

Это – уже не слепая нора, по которой мы лезли, и не коридор. Это – подземная улица.

По одну сторону ее тянутся рельсы, железная дорога.

По другую – место для пешеходов, тротуар.

Правда, он не залит асфальтом и не мощен мостками. Три-четыре человека могут идти по нему рядом.

Электрические бледные лампочки крошечными уличными фонарями уходят вдаль, может быть на полкилометра, может быть на километр. И черный потолок над ними навис низко – всего каких-нибудь три метра от «земли», и кажется ночной тьмой, навалившейся на улицу.

Здесь много людей. Каталя возятся над опрокинутой вагонеткой. Проходит бригада забойщиков. Они похожи на рыбаков, на них поблескивает непромокаемая одежда, резиновые сапоги, круглополые кожаные зюйдвестки. У каждого в руке шахтерская лампочка-фонарик.

Проходит инженер с двумя рабочими, проходят работницы с лопатами. Они пересмеиваются, и одна из них весело и бойко затягивает песню.

Мы идем все дальше и дальше по квершлагу, встречаем все новых людей. И глядя на прохожих, то веселых, то озабоченных, я совсем забываю, что над нами добрых семьдесят метров тяжелой земли. Мне начинает казаться, что я в каком-то фантастическом городе, где вечная тьма и слепые стены домов по краям улиц. И меня безмерно удивляет, что люди тут такие же, как везде.

Они спокойно делают свое дело. И совсем, кажется, не думают о солнечном свете, о просторе полей, о высоте поднебесья.

Но еще больше я удивлен тем, что сам уже не страдаю от этой тьмы, чуть раздвинутой крошечными фонариками, от замогильной сырости.

Мы идем по ночной улице – и вот начинается дождь. Он льет перед нами с низких-низких черных небес, и мы входим под него, как под душ. Крупные капли беспрестанно барабанят по нашим кепкам, блестят лужи под ногами, в лужах отражаются огоньки.

– Вечный дождь тут, – говорит Виктор Степанович. – Пусть там, наверху, светит солнце или пусть вьюга, сорокоградусный мороз, все замерзло – тут льет дождь. Подпочвенные воды сочатся. Вообра…

Вдруг мгновенно потухли все лампочки-фонари. Мгновенно настала тьма.

В жизни своей никогда я не испытывал такой тьмы. Не может на земле быть такая тьма. В ней сразу утонули все звуки, вся жизнь, весь мир.

Что это: катастрофа, конец, смерть? Мы заживо погребены?

* * *

Я открыл глаза.

Свет. Фонарики горят, поблескивают лужи, капают капли, грохочет железо. Навстречу нам с обушками на плечах идут спокойные забойщики. И Виктор Степанович говорит, как будто продолжая начатый разговор:

– … дается световой сигнал. Смена рабочих.

Неужели тьма длилась одно мгновение? Неужели всего один миг?

Мне кажется – прошла жизнь.

Квершлаг перешел в коренной штрек[4], начались забои.

– Как вам нравится эта змея? – спрашивает Виктор Степанович.

По полу, по лужам ползает, изгибаясь и подпрыгивая, бесконечно длинная серая змея – резиновый шланг.

Толстую железную голову ее держит за уши забойщик.

В яростной злобе железная голова змеи с молниеносной быстротой выбрасывает, прячет и опять выбрасывает прямое стальное жало: «гвоздит» им в черную стену. Брызгами летит из-под него уголь.

– Отбойный молоток. Действует сжатым воздухом. Резиновый шланг – воздухопровод к нему.

– Все это очень интересно, – говорю я. – Но ведь вы обещали показать мне и живых зверей?

– Покажу, покажу, все покажу. Да вот они и сами.

Он показал вперед по штреку.

Оттуда приближался маленький поезд. Впереди шла лошадь, таща за собой пять вагонеток, полных угля. За ней еще лошадь с вагонетками и еще. На передних вагонетках лежали коногоны.

Лошади шли медленной поступью, низко-низко опустив голову. Трудно было сказать, какой они масти: угольная пыль превратила рыжий цвет в бурый, серый – в черный, белый – в грязно-серый.

Когда они приблизились к нам, я хотел отвернуться.

Я знал, что в шахтах, годами без солнца, лошади слепнут, и не хотел глядеть в ужасные немые глаза этих животных.

Но первая из лошадей встряхнула головой и глянула на меня.

– Зрячая! – удивился я.

– Ну да, – сказал Виктор Степанович. – У нас они не теряют зрения, потому что работают в три смены, по восемь часов. Остальные шестнадцать они проводят наверху, на «днев-

[4] Коренной штрек – главный, основной откаточный штрек.

ной поверхности». Вообще лошадь в шахте – это пережиток старины. Мы всюду сейчас, как в Губахе и в Кизиле, вводим под землей электровозы.

– Смотрите, – сказал я. – Как та вот, гривастая, идет: видно, еле тянет.

– Это Манька-то? – встрепенулся коногон и повернулся к нам лицом. – Она нарочно надувается. Хитрющая зверюга! Попробуй ей лишнюю вагонетку прицепи. Полагается пять, она знает. Повернет голову, смотрит и считает. Как начнешь прицеплять шестую, сейчас зауросит, головой замотает, копытами бьет. Она счет знает, право слово, знает. В обиду себя не даст, вре-ешь!

Поезд прошел, и мы направились дальше.

– Вот еще тут по вашей части, – сказал Виктор Степанович.

На стене, немного выше моих колен, висела клетка с канарейкой.

Другая клетка стояла на полу. В ней копошились две розовохвостые белые мыши. Рядом горела на земле шахтерская лампа.

– Свинство! – рассердился я. – Что это еще здесь за любители канареек и белых мышей? За что лишили животных солнечного тепла и света? Да еще и повесили так низко.

– Вы ошибаетесь, – возразил Виктор Степанович. – Канарейка и мыши здесь на государственной службе. О, самая ответственная, самая тонкая и опасная служба! – продолжал он, поймав мой недоуменный взгляд.

– Дело в том, что здешние бурые угли опасны самовозгоранием. Никакого эффекта, никаких громоподобных взрывов от неосторожно зажженной спички, как в тех шахтах, где скопляется гремучий газ. Но это не менее страшная вещь. При самовозгорании уголь выделяет смертоносные газы: окись углерода, углекислоту, метан. Первым делом – окись углерода, угар.

Это ужасный и самый коварный газ, газ-невидимка: без запаха, без вкуса, без цвета. Как его обнаружить? А обнаружить надо сразу же, а то будет поздно: он задушит шахтеров, вспыхнет пожар.

Из всех животных канарейка оказалась наиболее чувствительной к окиси углерода.

Едва в воздух начинает проникать этот газ, канарейка дает знать об опасности поднятием лапок вверх. Попросту сказать – дохнет.

За ней неотступно следят. Только она упадет, сейчас бьют тревогу.

Окись углерода течет на небольшой высоте: так от колен до пояса. Поэтому и клетка с канарейкой висит так низко.

А еще ниже, у самого пола, идет тяжелый углекислый газ. И вот подите ж: кошка малочувствительна к нему, а мыши чуют сразу. Начинают метаться и дохнут. И лампа, поставленная на пол, тухнет.

Ну, налюбовались? Идем дальше.

Но я не сразу оторвал глаза от этой нахохленной грязно-желтой птички, от невеселых белых мышат.

Эти живые инструменты человеческой хитрой техники поразили меня больше всех виденных в шахте машин.

Виктор Степанович показал мне еще машинную камеру. Там у электрической лебедки сидит женщина – молодая работница. Ежеминутно звонит телефон, она слушает. И сама в телефон дает распоряжения по лавам.

Были мы и в приемном покое. За толстой, плотной дверью небольшая чистая комната. Дощатый пол. Тепло и сухо. Койка у стены, носилки. В углу лекпом – тоже молодая женщина.

Удивляюсь я подземным работницам. Мысль о том, что у них над головами каменная кровля в миллионы тонн весом нисколько их не беспокоит. Они работают спокойно, удивительно спокойно. И ни одна из них не запачкает в угле светлых волос или лица.

Побывали мы и в подземной столовой. Это большое помещение, целый зал. Посредине длинные деревянные столы. Груды хлеба на тарелках.

– Ну вот, – говорит Виктор Степанович, – теперь нам осталось побывать только в нижней лаве. Там самые трудные и опасные забои: сколько раз уж начинался пожар. Пошли!

Я иду за ним по столовой. И вдруг два, три, четыре быстрых зверька выкатываются из темного угла, прошмыгнули по нашим ногам.

– Чертовы крысы! – ругается Виктор Степанович. – И здесь от них нет спасенья.

А я обрадовался им, как родным: вот, наконец, первый зверек, сам, по своей воле, забравшийся сюда. Канарейку, белых мышей в клетках притащил человек, покорных лошадей спустил сюда человек. А эти сами. Они ничего не боятся, и куда проникает человек, проникают за ним и крысы.

– Полноте вы с вашими крысами, – говорит Виктор Степанович. – Гляньте-ка лучше, кто идет нам навстречу.

Мы идем по штреку гуськом: обочина для пешеходов тут очень узка. Рядом грохочет конвейер.

Поднимаю глаза и вижу: навстречу идет собака.

Собака на полторы сотни метров под землей, – что за нелепость. Уж не кажется ли мне?

Да нет, правильно – собака. Довольно крупный пес, дворняга и, видимо, с примесью английского сеттера. Масти невообразимой: как мокрица. Идет с деловым видом, не смотрит по сторонам.

Я останавливаюсь: нам не разойтись на узкой обочине для пешеходов, или псу или мне надо стать на конвейер.

Пес предупреждает меня. Он шагает на движущиеся желобья, осторожно укрепляется на них всеми четырьмя лапами и трясется на месте, пока мы проходим мимо. Потом опять вылезает на «тротуар» и шагает дальше.

От удивленья я все стою на месте и гляжу ему вслед.

– Это что же такое?

– Это, – отвечает Виктор Степанович, – это собака. А вы думали – крыса?

А если хотите, так даже не собака, а бригадир Джек. Идемте за ним.

Джек сворачивает в боковой ход, осторожно переступает через подпрыгивающие на земле шланги-змеи.

Мы за ним.

– Здорово, здорово, товарищ командир! – весело здоровается с собакой молодой забойщик. – Так что все в порядке и прогульщиков нет.

Джек снисходительно помахивает хвостом. Он внимательно поглядывает на каждого из рабочих. Потом три раза оборачивается вокруг себя и ложится.

Я накинулся с вопросами: откуда взялся этот пес? Как попал сюда? Давно ли здесь? Кто его обучил? Где хозяин?

И молодой забойщик рассказал нам историю про бригадира Джека.

Года три назад работал в этой шахте один старый забойщик. Его сделали бригадиром над двумя бригадами.

У него был пес, этот вот самый Джек. Ходил с ним на охоту в часы отдыха.

Старик и под землю в помощники стал брать его с собой.

Только один молодой парень невзлюбил собаку и решил ее убить.

Он взял с собой под землю кусок вареного мяса. И когда бригадир ушел в другой забой, парень стал звать пса, манить за собой.

Хотел стукнуть его обушком по голове и завалить углем. Потом позвать хозяина и сказать, что собаку убил неожиданно обвалившийся уголь.

А Джек присел вдруг, поднял морду кверху и заскулил. Сидит и воет, как над покойником.

Парень зовет его, мясо сует. Джек не идет. Прибежал бригадир.

Он сразу понял, в чем дело.

Поставил свою лампочку на пол. Огонь сейчас же потух.

– Смирно! – закричал бригадир. – Слушай меня – и спокойно.

Забойщики почувствовали, что дело серьезно, и замолкли.

– Видали? – продолжал старик. – Лампа потухла. Джек воет, потому что пошел газ. Газ всех задушит насмерть, если не будете меня слушать. Бери инструмент – и за мной! Джек не выдаст.

Пес уже пошел вправо по штреку – в другую сторону от квершлага и рудничного двора. Бригадир побежал за ним. Забойщики колебались одно мгновенье: всем хотелось бежать прямо к рудничному двору, к подъемной машине: скорей умчаться наверх от смертоносного газа.

Но бригадиру подчинялись. Все бросились за ним. Все, кроме одного: того парня, что взялся пристукнуть Джека. Этот побежал в противоположную сторону – прямо к лифту.

Боковым и параллельным штреком Джек вывел бригаду к лифту. Дали сигнал тревоги. Благополучно поднялись наверх, на дневную поверхность, все, кто был в шахте.

А тот парень погиб.

Дело объяснилось просто. Джек инстинктом нашел правильное направление: от газа можно успеть спастись, только идя против тока воздуха.

В шахте работают вентиляторы. Они гонят по штрекам струю воздуха в определенном направлении. Вытягивают воздух наверх.

Все, бежавшие за Джеком, выскочили из струи газа. Парень, побежавший в обратную сторону, двигался по направлению течения газа – и задохся.

Джек стал общим любимцем. Хозяин-бригадир давно перевелся из этой шахты в другую. А Джек остался.

– Хороший человек собака, – любовно закончил забойщик свой рассказ. – Сурьезный.

Виктор Степанович вынул часы.

– Ну-с, нам пора, иначе сегодня не попадем на охоту.

– Да подождите, – отмахиваюсь я. – Надо же как следует поглядеть на это чудо.

Виктор Степанович рассмеялся.

– Ага, задело за живое! Даже охотой не сманить стало из-под земли. Значит, не так-то уж скучно здесь?

– Да подождите вы, – отмахиваюсь я.

– Пошли, пошли! – торопит Виктор Степанович. – На самом деле пропустим зорьку.

А я и забыл, что там, на земле, горит солнце, что время близится к вечеру.

Виктор Степанович повел меня квершлагом прямо к рудничному двору, к «шахтному вокзалу».

К лифту с лязгом и грохотом подходил конный поезд. Коногон соскочил с передней вагонетки. Перед самым лифтом ловко скинул крюк сбруи с кольца на передней стенке вагонетки.

Лошадь без команды свернула в проход между лифтом и стеной.

Раскатившиеся вагонетки с углем по рельсам въехали в клеть, вытолкнули стоявшие там две порожние вагонетки – и остановились.

Дежурная у лифта работница задвинула дверцу клетки и дала два звонка на эстакаду, наверх.

Клеть дрогнула, покачнулась и плавно пошла вверх, в темную дыру.

Дежурная сняла трубку телефона.

– Эстакада? Примите уголь, спустите клеть для подъема двух товарищей. Да-да. Живей давай!

Прошло несколько минут, пока вернулась клеть. Лязгнула дверца.

Мы вошли в клеть.

Дежурная дала пять звонков подряд и через короткий промежуток еще три.

Пол закачался у меня под ногами. Точно кто-то схватил меня за пятки и начет тихонько поднимать от земли.

Конечно, мне не раз приходилось в городах подниматься в лифте на верхние этажи. Там мгновенная тьма сменяется светом, мелькают этажи, но тут другое.

Поскрипывают тросы – стальные канаты. Клеть качается и трещит. Стен не видно, не видно лица соседа, не видно, с какой быстротой поднимаемся. Да и поднимаемся ли вообще? Может быть, давно неподвижно висим в темном колодце над пропастью.

И только растет, все усиливается странный, густой певучий звук.

Что это? Звук не похож на грохот железных шин, не похож ни на один из глухих шумов там, внизу.

Точно кто-то поет, нечеловечески огромная глотка.

Светает. Все стало видно. Вот чьи-то ноги на уровне моих глаз. Пояс. Лицо.

А непонятный звук все гремит, как песня, как гимн.

Стоп! Мы вышли из клети. Мы под крышей. Выходим в степь.

Какая масса света! А этот звук, – я не узнал его. Ведь это же ветер! Как чудно он поет!

Шагаешь по веселой траве – и не веришь, что там, на сотню метров под ногами, – улицы, железные дороги, гремят машины, работают люди. Что я шагаю высоко над их головами.

Цветная ночь

Мы возвращались на автомобиле с охоты.

Дорога лежала через степь, ровная и прямая, как поваленный телеграфный столб.

Быстро темнело. Но мы уже отмахали километров пятьдесят, до города оставалось пустяки, каких-нибудь полчаса езды. Шофер Петя Носик все прибавлял ходу.

Виктор Степанович ерзал на сиденье, что-то искал в своих бесконечных карманах. Потом сполз вниз, стал перебирать убитую дичь – нашу добычу.

– Что вы ищете?

– Портсигара моего не видали?

– Видел, когда вы брали из него папиросу, на привале. Помните, за канавой сидели, курили, перед тем как сесть в автомобиль?

– Да-да-да!.. Верно. Значит, там я его и оставил. Надо вернуться.

– Полноте! Папиросы у меня есть, хватит до дому. Шут с ним, портсигаром: он же у вас грошовый.

– Нет, нет, непременно вернемся, он мне до зарезу нужен.

При этом у профессора был ужасно растерянный вид. Волосы на голове взлохматились, даже всегда аккуратная козлиная бородка как-то смешно растопырилась. Он продолжал похлопывать себя по бокам, по бедрам, по груди – всюду, где у него были карманы. Раз пять перекладывал с места на место свою кепку рябчикового цвета: нет ли под ней портсигара?

– Говорю же: хватит у меня папирос. Нате, закуривайте.

Виктор Степанович закурил, но сказал настойчиво:

– Петя, дорогой, давай поворачивай, поворачивай!

– Ну ты! Не знал, что вы такой скопидом: паршивой деревяшки жаль.

– Да ведь в ней – пропуск.

– Что?

– Пропуск свой я в портсигар засунул. Завтра мне на завод идти, в лабораторию, а меня не пустят.

Я расхохотался.

– Ну, знаете, вы точь-в-точь как один мой очень юный и беспойный сосед в поезде. У меня нижняя полка была, у него – верхняя. Вот ночью просыпаюсь от крика и стонов. Он стоит на полу, на своем пальто почему-то, и плачет.

– Вы что? – спрашиваю.

– Пальто упало! – отвечает, хныкая.

– Эка, подумаешь, важность – упало. Ну, поднимите, почистите ваше пальто, всего и дела.

– Да… А в пальто я лежал.

Мой анекдот не рассмешил Виктора Степановича: профессор слишком был озабочен.

Петя Носик молча заворотил машину, дал скорость и включил свет.

Сразу утонула в темноте степь. Черная ночь придвинулась к целлулоидным боковым окошечкам автомобиля. Но впереди, в ярком свете фар, открылась волшебная картина: там ночь была цветная.

Первый раз в жизни я мчался по дикой уральской степи ночью. И совсем по-новому открылась мне эта – казалось, такая знакомая – степь.

Широкая дорога убегала куда-то под ноги, вращалась, как бесконечная лента конвейера. Белого, серого, бурого, желтого цвета.

Придорожная полынь казалась лесом, каждый кустик травы – деревом.

Маленький лес этот точно откуда-то издалека бежал к нам навстречу, но вдруг исчезал, так и не добежав.

Деревья казались гигантскими. Вершинами они уперлись в черное небо. Яркая желто-зеленая листва их блестела, как стекло.

Виктор Степанович все шарил по своим карманам и что-то озабоченно бормотал себе под нос.

– Да посмотрите, какие чудеса впереди! Бросьте думать о портсигаре, найдем.

– Найдешь его…

В эту минуту впереди из-под колес веером брызнули большие белые хлопья и исчезли справа и слева.

Из темноты раздался резкий лающий голос белых куропаток. Тут даже Виктор Степанович не выдержал.

– Ишь ругаются! Слышите, кричат: «Будь ты проклят, будь ты проклят, будь ты проклят: напугал, напугал, напугал!» Эта они тебя, Петя.

Петя рассмеялся. Скороговоркой произнесенные проклятия были в самом деле очень похожи на крик испуганных куропаток.

– Носик, наддай ходу! – попросил Виктор Степанович.

– Гляньте! – закричал вдруг Петя.

Впереди прыгал на дороге ушастый зайчишка. Ослепленный неожиданным светом, он смешно и неуклюже подпрыгивал на одном месте, точно у него спустились штанишки и мешают бежать.

Петя Носик направил машину прямо на него.

Перепуганный заяц скакнул влево, но сейчас же повернулся и запрыгал назад.

Добежал до канавы и опять, чего-то испугавшись, отскочил на середину широкой дороги.

Петя, ловко играя баранкой руля, гонялся за зайцем из стороны в сторону.

«Жжип!» – машина чуть-чуть было не задела его колесом.

Но заяц сделал отчаянный, какой-то нелепый прыжок боком – и сразу пропал в темноте.

Петя Носик хохотал.

Виктор Степанович бормотал себе под нос:

– Тоже ночной гуляка! И чего их носит ночью на дорогу?

Километров тридцать мы проехали очень быстро. Проскочили две деревеньки.

Там уже спали; даже собаки не приветствовали нас лаем. До места нашего привала осталось недалеко.

Вдруг я увидел: впереди на дороге блеснула узкая полоска ярко-ярко-зеленого пламени, исчезла, опять зажглась.

Что-то зловещее было в этом фосфорическом огоньке. И еще страшней он стал, когда вдруг распался на два круглых кружка, два пристальных фонарика-глаза.

– Зверь! – крикнул я.

Но его уже заметили Петя и Виктор Степанович. Петя разом схватился за рычаг: прибавить скорости. Виктор Степанович выхватил ружье из чехла.

Да, это был зверь, и недобрый зверь. Мы увидели его всего, когда он повернулся к нам боком, сверкнул в последний раз зелеными глазами. Оба огонька при этом быстром его движении слились в одну полоску.

Это был матерый волк. В ярком свете фар, возвышаясь над лесом полыни, он казался настоящим чудовищем.

Темно-бурая шерсть горбом встала у него на спине и груди. Морда блеснула белым оскалом зубов. Тяжелый толстый хвост поднялся на уровень спины, и зверь точно сразу вырос вдвое.

Все это длилось одно мгновенье: волк быстро повернул и помчался от нас прямо по дороге.

Мы с Виктором Степановичем переглянулись и без слов поняли друг друга: стрелять, распахнув дверцу закрытого автомобиля, было невозможно. Вся надежда была на Петю.

Петя это и сам знал. Он только отрывисто бросил нам:

– Держись!

И мы понеслись.

Это было состязание между живыми мышцами дикого зверя и силой человеческой техники. Ставки были приблизительно равные: волк, проиграв, рисковал жизнью. Жизнью рисковали и мы: какая-нибудь яма на дороге, случайно попавший под колеса камень – и мы разбились бы вместе с машиной.

По совершенно ровной дороге мы могли развить чудовищную скорость. И еще было у нас преимущество: мы не могли устать. Горючего было достаточно.

Но и у волка был свой козырь.

Дорога была не совсем гладкой, местами попадалась щебенка, местами неровности. Волку это не мешало, а машину задерживало.

Мы с Виктором Степановичем впились пальцами в спинку переднего сиденья. Перебегали глазами с волчьего хвоста на белый круг спидометра, где черная стрелка показывала скорость нашего движения. Мы ведь были только зрителями, хотя и мчались вместе с гонщиком и рисковали вместе с ним сломать себе шею.

Все зависело от искусства Пети Носика – шофера.

Волк трусил от нас рысцой, и, казалось, небыстрой. Но это только казалось: стрелка спидометра прыгнула с цифры 20 к цифре 40, стала против нее.

Значит, мы мчались уже с быстротой сорока километров в час, – с быстротой лучших лошадей на бегах.

Волк продолжал уходить трусцой. Но расстояние между нами не уменьшалось.

– Гони! Гони! – сквозь плотно сжатые зубы страшным голосом хрипел Виктор Степанович.

Он был бледен. Петя еще наддал.

Волк и тут не перешел в галоп.

Ни разу он не обернулся. Да и не мог обернуться: так устроена его шея, позвоночный столб. Но, видно, хорошо знал, где мы: еще прибавил ходу, шел все на том же расстоянии от машины.

Машина гудела и подскакивала. Нас трясло в ней, как от лихорадки.

– И-эх! – вырвалось у Виктора Степановича.

Петя замедлил ход. Пошли ухабы.

Волк уходил от нас.

Но не прошло и минуты – дорога стала ровной, мы опять помчались с прежней скоростью.

– Жарь, жарь, жарь! – как в бреду твердил Виктор Степанович.

Расстояние между волчьим хвостом и нами стало заметно уменьшаться.

Машина подозрительно скрипела. Но Петя не сбавлял ходу.

Уже ясно можно было различить свалянную шерсть на толстом полене[5].

Виктор Степанович вдруг откинулся на сиденье.

– Брось, Носик! – сказал он совсем другим голосом. – Ясно же, не может живое тело тягаться с машиной.

Казалось, у него пропал всякий интерес к состязанию. Даже нотка сожаления к зверю зазвучала в его словах.

Я его понимал. Мне тоже жалковато было зверя. Но Петя не философствовал. Он еще прибавил скорости.

---

[5] «Поленом» у охотников называется волчий хвост.

Мы с Виктором Степановичем крепче вцепились в сиденье, уперлись ногами: сейчас мы налетим на волка, будет толчок, хрустнут под колесами кости.

Волк был от нас в каких-нибудь двадцати шагах.

Вдруг Петя повернул рулевое колесо: дорога круто сворачивала в сторону. На мгновенье полоса света упала в степь. Волк мчался по ней. Мы повернули. Свет опять лег вдоль дороги. Но волка на ней уже не было.

– Ушел! – с досадой крикнул Петя.

Так – неожиданно – состязание окончилось вничью, горячий спор прервался навсегда.

Петя умерил ход и рукавом вытер пот со лба.

Все молчали.

Мы присмотрелись к местности и скоро остановили машину: мы были у того места, куда ехали.

Когда мы вылезли из автомобиля, Петя поставил машину так, чтобы свет фар освещал то место, где мы после охоты отдыхали.

Все трое тщательно осмотрели траву, канаву. Но портсигара не нашли.

Мрачный сел Виктор Степанович в автомобиль. Мы поехали.

– Однако не понимаю, – произнес профессор, – кой черт он раньше не нашелся?

– Кто? Портсигар?

– Какой портсигар? Ведь стоило ему только свернуть с дороги – и он ушел бы от нас. Значит, для него не линия дороги определяет направление бега. Значит, он прямо, все прямо бежит, как по ниточке.

– Виктор Степаныч! – вдруг перебил Петя Носик. – А откуда вы папиросу взяли?

– А? Какую папиросу? Эту? Да из кепки. Кепка на пол упала, из нее папироса и вывешилась.

– Так взгляните-ка, – наверно, и портсигар там?

Виктор Степанович схватил кепку.

– Совершенно правильно: вот же он… Я его, значит, в шапку… И пропуск тут.

Вот удивительно! Зачем же мы столько времени и бензина потратили, а?

Я сказал:

– Виктор Степанович, вы – волк.

Профессор подскочил.

– Я?.. Как так волк?

– А так. Вам стоило только протянуть руку, чтобы взять пропуск. А вы всю ночь мчались за ним по степи. Вот так и волк. Пропуск был у него в кармане: стоило ему только свернуть с дороги – и он спасен.

Не могли же мы за ним прыгать на машине через канаву.

Но зверь бежит по дороге, освещенной фарами.

Бежит по ней, как по коридору. Резкие границы тьмы кажутся ему сплошными, неприступными стенами, стенами до самого неба.

Ему и невдомек, что препятствие это – мнимое, призрачное препятствие. Стоит только взять вбок…

– Понимаю! – вскричал Виктор Степанович. – Вы правы: я – волк.

Над землей

Автомобиль мчал нас за город – на аэродром. Покачиваясь на мягком сиденье, мы молчали. И мне и моему спутнику первый раз в жизни предстояло подняться на воздух, – и каждый из нас был погружен в свои мысли.

Я думал: «…Мчаться по воздуху, чтобы дух захватило! Чтобы небо крутилось и земля убегала назад. Чтобы все неподвижное ожило, леса сорвались и горы сдвинулись с мест. Какое высокое наслаждение – летать! И видеть с высоты как на ладошке все, что бегает, ползает, копошится на земле… Все сразу видеть…»

Торжественное настроение охватило меня. И я, обращаясь к своему спутнику – к человеку, который сейчас разделит со мной радость первого полета над родной землей, – проникновенным голосом сказал:

– Профессор, дорогой Виктор Степанович, о чем вы думаете в эти минуты?

Профессор мотнул бородкой, поднял на меня задумчивые глаза.

– Я думаю, – сказал он медленно, – о песьей масти.

– Как? – переспросил я, ничего не поняв от неожиданности.

– О собачьей масти, – повторил Виктор Степанович. – Здесь, в Челябинской области, великолепная охота на уток и гусей. Вот я и думаю: какая собачья масть лучше всего подойдет для этой охоты? Вы как считаете? А?

– Зеленая! – буркнул я сердито. Вся торжественность минуты мигом испарилась от такого вопроса.

Профессор даже не улыбнулся.

– Зеленая, конечно, была бы идеальной, – согласился он все так же задумчиво. – «Защитный» цвет – под траву, камыши. Вот и горе, что до сих пор не вывели зеленых собак.

– Так возьмите да выкрасьте, – злился я.

– Постойте, вы серьезно мне скажите. Я думаю, бурая или кофейная. Под цвет земли. А? Как вы полагаете?

Я вздохнул: раз уж профессор всерьез задался каким-нибудь вопросом, ни о чем другом с ним не поговоришь.

– Кофейной масти мой Джим, – уныло ответил я. – А теперь я завел себе Боя в пегой рубашке: большие черные заплаты на белом да еще желтые пятна на морде и лапах. И могу вас заверить. Кофейного Джима утка издали замечает, а пегого Боя – нет.

– Ну, ну, ну! – замахал рукой профессор. – Простите, но ведь это же абсурд! Белые пятна на черном! На фоне зеленой, желтой травы и листвы, на бурой земле – всюду белый цвет самый броский. Не станете же вы на утиные засидки надевать белый балахон?

– Это другое дело.

– Нет, позвольте: почему же другое? Речь идет о наиболее незаметной окраске. Посмотрите, птицы: гуси – серые, утки – серые.

– А нырок-гоголь? Он черный с белым. А сорока-белобока?

– Что ж, исключения только подтверждают правило. Давайте рассуждать логически. Мое положение: чтобы собака не была издали заметна птице, надо, чтобы ее масть подходила под цвет окружающей обстановки. Белый и черный цвет всего заметней на фоне зелени и земли. Теперь ваши доказательства. Ну-с?

Я был приперт к стене. На основании опыта я был уверен в своей правоте, но доказательств у меня не было никаких. Почему, правда, птицы издали не замечают моего Боя?

И я очень обрадовался, что как раз тут шофер остановил машину и объявил: «Приехали!»

«Ну, теперь будет не до спора, – облегченно подумал я, – забудется».

Мы вышли из автомобиля.

Среди грязноватого от осенних дождей поля – маяк: простой деревянный барак с флагом. Невдалеке от него стоят три маленьких самолета в чехлах.

Летчик встретил нас у крыльца барака. Он еще совсем молодой, высокий, красивый. И с такими спокойно-внимательными глазами, что – скинь он форму, – я, наверно, бы принял его за врача.

– Полуянов, – отрекомендовался он, по очереди подавая нам свою громадную руку. – В первый раз летите?

И он объяснил нам правила поведения воздушных пассажиров.

Механик с рабочим возились около среднего самолета, сняли с него чехол, проверили работу мотора.

Я подошел к аппарату.

Небольшая деревянная рыбина с крыльями непрочностью своей напомнила мне змея, что клеили мы в детстве из лучины, перетягивали тонкими веревочками. Казалось, сядешь в эту легкую построечку, – она затрещит по всем швам.

На теле деревянной рыбины чернели крупные буквы:

СССР А-534.

И ближе к хвосту, помельче:

Вес конструкции 687–703 кг.
Вес в полете – 1034 кг.

«Вот именно – конструкция, – думал я, глядя на непрочную построечку воздушной машины. – На «конструкции» и полетим».

Это был маленький двухместный открытый биплан со стосильным мотором. В теле «рыбины» между местами пилота и задним прилажено еще одно сиденье – для второго пассажира.

Подошел Полуянов с Виктором Степановичем – оба в шлемах и очках. Летчик дал мне ваты, предложил заложить в уши. Надел на меня автомобильные очки и шлем.

Вслед за Виктором Степановичем я взошел по крылу и, перекинув ноги через борт, опустился на мягкое сиденье. Механик застегнул у меня на животе широкий пояс – привязал к сиденью.

Над бортом теперь осталась только моя голова да плечи. Перед носом торчал круглый затылок Виктора Степановича в шлеме. На переднем сиденье усаживался Полуянов. Он повернул к нам свое большое улыбающееся лицо, и я услыхал сквозь шлем и вату:

– Тут у меня зеркальце, я буду вас видеть. Если вам станет нехорошо…

Он спустился на свое сиденье. Механик, стоя сбоку, взялся рукой за неподвижный пропеллер.

– Внимание!

– Есть внимание! – неторопливо отозвался голос летчика.

– Контакт!

– Есть контакт!

И механик крутнул пропеллер; мотор загудел. Сердце екнуло… Вот он, торжественный момент: сейчас самолет оторвется от земного шара – и я помчусь по воздуху.

Легкая «конструкция» поскакала по полю, потряхивая нас на каждой кочке. Побежали мимо бараки, березовая рощица.

«Вот неудача! Еще опрокинется…» – и я глянул вдоль крыла.

Там, глубоко под нами, виднелся крошечный барак и смешно торчали голыми прутиками березы облетевшей рощицы: самолет, оказывается, давно уже снялся с земли и, разворачиваясь на левое крыло, набирал высоту.

Летчик предупреждал: «Когда самолет развертывается, не смотрите в сторону опустившегося крыла: может закружиться голова».

Но я смотрел – и не мог оторвать глаз от быстро убегавшей земли. Удаляясь, земля крутилась, крутилась, в поле зрения вместо степи подворачивался широко раскинувший свои постройки город. Сладко замирало сердце. Но голова ничуть не кружилась.

Всем телом я чувствовал наклон на левую сторону. Хотелось вытянуть правую руку, выправить крен. Но ветер ревел сбоку, между мной и его стихийной силой не было ничего, никакой перегородки, кроме непрочной стенки «конструкции». Я скорей почувствовал, чем подумал: сунешь руку за борт, – ее переломит в локте, как спичку, и умчит ветром…

Я поглядел вправо. Правое крыло уходило прямо в голубое небо. Небо было безоблачно и неподвижно.

Крыло опустилось: самолет выровнялся и стал прямо.

Гудел ветер, ровно стучал мотор.

Меня охватило чувство горделивого восторга: вот я сижу в мягком кресле высоко в воздухе, смотрю на мир и ничего не боюсь.

…Ой – из-под меня будто выдернули сиденье, сердце ухнуло; всем телом я почувствовал, что подо мной пустота. Недоуменный страх.

Но в следующий миг все прошло: упругое сиденье опять подвернулось под меня.

В зеркальце с доброй улыбкой глядело на меня внимательное лицо летчика. По движению его губ – голоса не было слышно за ревом ветра и мотора – я понял: воздушная яма.

Самолет провалился в нее, но сейчас же опять выровнялся.

Я глянул вниз и с удивлением заметил, что мы уже над городом.

Летчик простым, но, кажется, таким величественным жестом показал вниз. Я кивнул головой: дескать, вижу и понимаю.

Потом оказалось, что ничего-то я не понял: думал, он на город показывает, а он указывал нам крышу дома, где мы жили. Но все равно мне бы ее не увидеть: непривычный глаз терялся в этой массе серых квадратиков на карте незнакомого города. С трудом я разбирался в нем и только в самых общих чертах. Вот река, спичечка-мост через нее. Вот уйма деревянных домишек в середке и большие железокаменные новые постройки на окраинах: громадный тракторный завод.

Мы летели над Челябинском – городом заводов.

Я сказал «летели». Но это было только знание: ощущение было другое. Если б я не знал, ни за что бы не подумал, что лечу. Казалось, легкая «конструкция» висит между небом и землей, «свободно взвешенная в воздухе», как принято выражаться в физике. Я нисколько не чувствовал быстроты ее движения.

Когда мчишься на лошади, в поезде, в автомобиле, навстречу тебе летят деревья, телеграфные столбы, постройки, подворачивается под ноги земля. Быстротой передвижения окружающих предметов и измеряешь скорость своего движения.

Здесь ничего не летело навстречу. Пустая вселенная, казалось, навеки застыла в неподвижности, прикрытая голубым колпаком. Плоским блином лежит внизу земля. Громадный горизонт (потом я узнал, что мы находились на высоте полутора тысяч метров). Земля кажется дном высохшего моря. Кой-где на ней поблескивают лужицы – это озера. На западе виден берег: длинная узкая полоса – Уральский хребет. И только если внимательно присмотреться, замечаешь, что медленно движется, поворачивается под тобой эта живая карта земли.

Тоненький серебряный прутик лежит через город, – я не сразу понял, что это рельсы железной дороги. А та длинная, плюющая дымом коробочка на нем – поезд. И как странно: он медленно, медленно движется назад от города к Уралу.

Это был скорый Москва – Иркутск! Он мчится со скоростью сорока километров в час – от Урала к городу! (Я потом узнал, что наш самолет летел со скоростью ста десяти километров в час.)

Смотрю, – а мы уже висим не над городом, – над круглыми и продолговатыми лужами.

Это знакомые озера: не раз я ездил на них из Челябинска – охотиться на уток. Какими же крохотными они кажутся отсюда! И самое удивительное: блестящая вода в них как будто навеки застыла – бороздками, как грязь. Это волны. Но их движения не видно. А ведь сегодня сильный ветер, и если б я плыл по озеру в лодке, меня бы качали, толкали и гнали эти самые волны.

«Как странно, как странно! – думалось мне. – Только скорость, только страшная скорость «конструкции» держит нас в воздухе. Стань на мгновенье самолет – и мы скользнули бы вниз, нас разом притянула бы Земля. И вот я мчусь по воздуху, а быстроты этой, скорости передвижения в пространстве, совсем, совсем не чувствую…»

И я стал вслушиваться в стук мотора: ведь от него, от этой машины в сотню лошадиных сил, зависит сейчас наша жизнь. Откажет мотор, тогда…

И в тот же миг послышались перебои, стук стал реже, реже, раздались громкие выхлопы, как выстрелы. И мотор замолчал. Я почувствовал: мы падаем вниз. Конец?..

Я взглянул в зеркальце летчика. Серьезные, внимательные глаза глядели на меня оттуда. Я услышал сквозь вой ветра:

– Вам не холодно?

Ух, черт! А я-то думал…

Мотор опять застучал. Летчик выключал его, чтобы задать нам свой заботливый вопрос.

Опять прыгнул подо мной самолет, но это было знакомое ощущение: воздушная яма.

Левое крыло накренилось: поворот. Восторженная радость не оставляла меня, и я не соображал времени. Я все ждал встречи с птицами, но птиц не было.

Впрочем, вот там над озером, – что это? Чуть видно: извилистая серая полоска.

Конечно это гуси! Как низко над землей они летят! И очень смешно: вытянули вперед длинные шеи, машут крыльями, – а сами ни с места!

Вот медленно-медленно проплыли назад озера, город. И опять мы висим над степью.

Вот светлая узкая полоска дороги – видней и видней. Можно уже различить на ней стадо коров. Наверно, их гонят в город; головами все к нам.

Я глянул на Виктора Степановича. Его нос торчал из шлема, как птичий клюв, и был направлен вниз. «Тоже, верно, на дорогу смотрит», – подумал я.

Самолет снизился, шел на посадку. Теперь я видел совсем ясно: стадо идет по дороге разреженно, и коровы все на подбор темные: коричневые, черные, красные. Гуртовщики идут по обочинам дороги, сбивают стадо бичами, а коровы почему-то не желают сгрудиться.

Самолет еще круче наклонился на одно крыло – и земля понеслась на меня, штопором ввинчиваясь в глаза. Наконец-то, вот оно: дух прихватило!

Летчик не велел глядеть вниз при посадке. Но я опять не послушал совета. Да и не к чему было: уже явилось доверие к этой летучей «конструкции», и, как ни быстро летели мы к земле, ощущения катастрофы падения не было. Движение по кругу успокаивало нервы.

На последнем кругу земля вдруг подскочила, с бешеной быстротой кинулась ко мне. Завихрились березы, барак с флагом, – и вот уже «конструкция» неуклюже бежит по полю, подскакивая на всех неровностях, и навстречу нам бежит от барака рабочий. И вот мотор замолк.

Подкатываем к тому месту, откуда поехали, и – стоп!

Хочу подняться – и не могу. Ах, да: ремень ведь! (Я о нем ни разу и не вспомнил.)

Отцепил, выскочил, снял шлем, вату из ушей вытянул, – а в ушах все еще шум и кровь стучит.

Вот на крыльце; летчик протягивает большую руку и говорит без улыбки, торжественно:

– Поздравляю с первым воздушным полетом.

И вот опять мы мчимся в автомобиле с Виктором Степановичем – назад в город. Я все еще полон волшебных ощущений полета. Но спутник мой хладнокровно начинает разговор с того места, где кончил его до полета:

– Ну-с, так какие же у вас доказательства, что черная с белым масть хуже видна?

Шофер дудит, дудит: мы огибаем большое стадо коров, – то самое, что видели сверху. Гуртовщики кричат и щелкают бичами. А мы с Виктором Степановичем глядим удивленно на стадо: коровы идут тесно сгрудившись, и они разной масти – сколько угодно и пегих среди них.

– А мне казалось сверху… – говорит Виктор Степанович.

– Вот в том-то и дело! – кричу я, торжествуя. – С высоты птичьего полета мы видели бурых, черных, кофейных коров, а вот пегих не видели. Пегие спины не складывались для нас в знакомые фигуры, черные и белые пятна разбивали рисунок спины, – и мы принимали их сверху просто за пустые места, за промежутки между животными.

– Да, так, пожалуй, так… – задумчиво соглашается мой спутник. – Мир кажется иным с высоты птичьего полета… Заведу себе пегую собачку.

Заяц-всезнаец

Пришли ко мне из соседнего колхоза два охотника. Завернули табачку, поговорили о том о сем, потом старик и говорит:

– А мы до тебя с делом. Как есть ты человек ученый, каждую животную по имени знаешь, верно, и нам пособить можешь.

– А что такое? – спрашиваю.

Молодой усмехнулся, говорит:

– Сказать стыдно. Заяц нас забижает. Каждый день в колхозном огороде одной капусты сколько потравил. Здоровый русачина.

– Так застрелите его.

– То-то вот и есть, что не дается никак. Уж мы его и с собаками имали, и самострел ладили – нет на него погибели! Видеть – видим, а взять – вот поди ты: как сквозь землю уходит! Уж девки над нами смеются – срам и срам.

– Искушение!.. – забормотал старик. – Хоть попа с кадилом зови. Намедни шли мы с поля, а он как порскнет из-под ног! Я в его топором, сам поскользнулся да в яму – ух! Весь в грязи вылез, ребята зубы скалят. А он сгинул, как не бывало.

– Чепуха какая! – сказал я. – Заяц как заяц. Чем топором швыряться, вы бы его из ружья ахнули: никуда бы не ушел!

– Пробовали и с ружья, – сказал молодой. – Видали ведь мы зайцев, сами охотники. Уж как хотите, а этот русак не простой. И ловушки знает, и ружье знает, и собаку со своего следу сбить знает. Прямо сказать – заяц-всезнаец. Поди сам спытай, коли не веришь.

– Приходи, сделай милость, – сказал старик. – Может, и повезет тебе счастье. За тем и пришли до тебя.

– Конечно, завтра же буду у вас. Только одно: я убью вашего русака, а вы скажете – не тот.

– Не-е, – протянул молодой и поглядел на старика, – этому не бывать. Скажи-ка им, дядя.

– Что еще? – удивился я.

– А то… – начал старик и запнулся. – Того… Ты, может, за глупых нас посчитаешь. Да уж все одно: придешь, своими глазами увидишь. У того русака на спине деревянная ручка приделана.

Я чуть не прыснул со смеху.

– Ну, дядя, хватил! Уж если ручка приделана, так остается, как говорится, выкрасить да выбросить вашего русака, и дело с концом.

Старик ничего не сказал, даже не улыбнулся. Молодой осклабился и проговорил как бы с извинением:

– Самим не верко, да вот приходи давай, поглядишь. Может, по-вашему, по-ученому, оно и просто объяснить.

Завернули еще по цигарке, простились и ушли.

Задумался я. Вижу, дело серьезное, и взяться за него надо немедленно. И не в том беда, что заяц немножко капусты колхозной попортит, а в том, что вокруг него тайна: «ручка» какая-то на спине и эта непонятная способность уходить от ружей, собак и ловушек. Где темная тайна, там быстро растут шепотки да слухи и вырастают глупые суеверия. В памяти деревни пробуждается старый мир, леса и болота, населенные животными-оборотнями, лешие, водяные и всякая нежить. И вон уж – про попа с кадилом поминал старик.

Я решил зайца этого во что бы то ни стало добыть и все его тайны распутать от начала до конца.

Принялся за дело утром на следующий день. Крикнул свою охотничью собаку, взял ружье и отправился в соседний колхоз.

Молодой охотник повел меня на огород невдалеке от деревни, куда, по его словам, каждую ночь приходит таинственный русак. Показал мне дыру в частом осеке[6] и настороженный здесь лук-самострел. Ловушка была так налажена, что и крыса не могла бы проскочить в огород: стрела бы непременно ее поразила. Дыра в осеке перетянута крест-накрест совершенно незаметным даже вблизи конским волосом. Стоит коснуться волоска – самострел разрядится, и стрела полетит прямо в дыру.

Я и стрелу осмотрел: длинное древко и на конце трехзубая железная острога, какой бьют крупную рыбу с лодки, только маленькая.

– Сам в кузнице делал, – сказал охотник с гордостью. – Глянь, зубья-то какие: уж не сорвется.

На железных зубьях были большие зазубрины, язычки, как на рыболовном крючке.

Я спросил:

– Попадался кто-нибудь в эту ловушку?

– Как не попадаться! Четверых зайчат да двух матерых русаков взял за лето. А весной – тогда еще всезнаец-то заяц не приходил – я иду раз утром, гляжу: тетива спущена, а никого нет. И стрелы нет. Так ее и не нашел, пришлось новую сделать.

Пока мы стояли, разговаривали, моя собака тут же у самострела подхватила след, затявкала и пошла скакать через гряды картофеля. Я скинул ружье с плеча, приготовился стрелять.

– Пошел, пошел! – закричал охотник. – Вон стегает.

Здоровый русачина дул через грядки, и я различил на рыжей его спине белую деревяшку величиной с обыкновенную дверную ручку.

До зайца было шагов шестьдесят, ни секунды нельзя было медлить. Я выстрелил как раз в тот момент, когда русачина широким прыжком легко, как кузнечик, поднялся на воздух – перемахнуть осек.

То ли я промазал с непривычки стрелять «влет» по зайцам, то ли еще что, только дробь моя никакого вреда русаку не причинила. Он с невероятной быстротой понесся по полю, а вслед за ним перескочила осек и помчалась собака.

– Видел? – коротко спросил молодой охотник.

– Ничего не доказывает. Собака завернет его, а я возьму дробь покрупней.

– Идемте, – согласился охотник. – Только наперед скажу: уйдет он и от собаки.

– Посмотрим.

К большой моей досаде, охотник оказался прав. Мы видели, как заяц, далеко опередив собаку, пересек поле и направился прямо к железнодорожному валу. Как раз в это время с грохотом и лязгом мчался по насыпи скорый пассажирский. Заяц исчез в кустах под насыпью, и вагоны прогромыхали у него над головой.

– И машину знает, – сказал охотник. – Не боится ее ни вот столько. Говорю: заяц-всезнаец. А теперь нам его сегодня больше не видать. Он как дойдет до тех кустов, так здесь и сгинет.

И опять парень оказался прав.

Напрасно с лаем носилась моя собака по кустам, напрасно я прыгал с кочки на кочку в этом болотистом кустарнике. Заяц исчез.

– Каждый раз вот эдак сквозь землю уходит, и все на этом месте, – говорил молодой охотник.

Целый день я отыскивал зайца. К ночи вернулся домой усталый и, надо правду сказать, сильно обескураженный. Орешек оказался крепче, чем я рассчитывал.

Скоро проклятый русак изменил всю мою жизнь. Я забросил работу, вставал с восходом и уже хорошо знакомой дорогой отправлялся на колхозный огород. Почти каждый день

[6] О с е к – ограда из кольев и жердей.

я заставал там зайца-всезнайца, но выстрелить по нему больше ни разу не удалось. И каждый раз я терял его из виду в кустах у полотна железной дороги.

В колхозе уже посмеивались надо мной:

– Что, паря, заяц-то, выходит, умней тебя?

И когда я, наконец, явился без ружья и без собаки, старик охотник презрительно улыбнулся и как бы про себя сказал:

– Видать, нечистая-то сила шибче твоей учености.

Я промолчал: у меня был свой план.

На холме за полотном железной дороги стояла дозорная вышка. Я попросил молодого охотника через полчаса прийти с его собаками в огород, а сам прямо отправился к этой вышке и залез на самый верх. Как только я заметил, что охотник приближается к огороду, я поднял бинокль – и уж не отнимал его от глаз, пока первая тайна зайца-всезнайца не была разгадана.

Я видел, как на ладошке: русак перемахнул осек, пересек поле и скрылся в кустах у железнодорожной насыпи. Я стал водить биноклем по рельсам в одну и в другую сторону: у меня была догадка, что заяц, может быть, взбегает на насыпь и удирает по ней.

По рельсам проходил длинный товарный поезд, но русака ни впереди, ни позади него не было.

Кусты были по правую сторону полотна. Я посмотрел на поле с левой стороны полотна и вдруг увидел там как из-под земли выскочившего зайца. Это был заяц-всезнаец: в бинокль ясно различил я белую деревянную ручку у него на спине.

Он тихонько приблизился к маленькому островку деревьев – к рощице посреди поля – и скрылся в ней.

Еще минут пять я не отнимал бинокля от глаз: следил, не выйдет ли заяц из рощицы. Он не вышел. Значит, лежка его была там, в роще.

Не слезая с вышки, я окликнул охотника. Он поднялся на вал.

Я крикнул ему:

– Возьми собак и ступай вон в ту рощицу. Ружье приготовьте: заяц там.

А сам опять приложил бинокль к глазам.

Добрые гончаки живо прихватили след, залились и полным холод помчались к рощице. Я боялся только, что охотник не сумеет занять настоящего лаза, чтобы застрелить русака, когда тот выскочит из рощи.

Случилось другое.

Охотник занял хорошую позицию в поле за кусточком. Собаки с лаем дали несколько кругов по роще и вдруг выскочили в поле.

А заяц так и не показался.

После тщетных розысков охотника, самолично обшарившего всю рощу, мне стало ясно, что тут мы наткнулись уже на вторую тайну зайца-всезнайца. Я ведь знал наверно, что он сидит в этой рощице: кругом было чистое, ровное поле, и я бы непременно увидел зайца, если б он выскочил.

Я слез с вышки. И в этот день мне удалось разгадать только первую тайну зайца-всезнайца: как он сбивает собак со следа в кустах у насыпи.

Неожиданно правы оказались именно охотники-колхозники: русак здесь действительно сквозь землю проходил.

В железнодорожной насыпи была труба, какие прокладывают, чтобы пропустить ручеек, размывающий вал. Местность была болотистая. В кустарнике у насыпи скапливалась вода, а прежде, вероятно, когда строили дорогу, тут и ручеек бежал. Заложили трубу. С тех пор низкое место под насыпью заросло кустами, вход в трубу стал незаметен.

Русак знал его и свободно проходил сквозь трубу. Собаки тут пролезть не могли. А он неожиданно появлялся в поле.

Я попросил молодого охотника никому не говорить про мое открытие, пока я не добуду зайца: ведь вместо одной загадки передо мной встала другая. Я ума не мог приложить, – куда он девался из рощи? Не на воздух же поднялся!

Взять зайца-всезнайца теперь уже было просто: надо было мне только стать с ружьем по ту сторону насыпи у трубы, а охотника попросить шугнуть русака из огорода. И косой, проскочив трубу, дался бы прямо мне в руки.

Но загадка его исчезновения в роще оставалась неразрешенной, и я дал себе слово взять хитрого русачину только на его лежке. Уж очень интересно было распутать все его хитрости!

Но и эта задача оказалась трудней, чем думалось.

Напрасно ходил я четыре дня подряд с ружьем и собакой, напрасно изучал каждый метр земли в роще. На земле были заячьи следы.

Они кружили и переплетались чуть не под каждым деревом. И каждый раз были свежие следы: собака волновалась и лаяла. Но распутать их не было никакой возможности и нигде не было ни признака лежки.

Лежка русака – это обычно простая ямка, вмятина где-нибудь под кустиком, или под камнем, или под кучей хвороста. Я уж готов был допустить, что тот удивительный русак – заяц-всезнаец – делает себе нору, зарывается и землю, как кролик. Но и норы нигде не было, рощица была без подроста, все видно в ней, каждый следок на земле и большая черная лужа посредине.

Спрятаться здесь заяц никак не мог. И сколько я ни ходил в рощу, я ни разу его тут не видел.

Тогда я опять взялся за бинокль. Только в этот раз полез не на вышку, а на кудрявую иву, с которой хорошо просматривалась роща. Ждать пришлось недолго: ведь теперь уже я точно знал, в какие часы заяц-всезнаец закусывает на огороде и когда приходит вздремнуть в рощице.

Скоро я увидел, как он появился из трубы под насыпью. Он спокойно пересек открытое поле и прошел прямо под тем деревом, где я сидел.

Конечно, ему и в голову не пришло посмотреть вверх. Он даже и не подозревал о моем присутствии, а я разглядел в бинокль чуть не каждый его волосок. И таинственную деревянную ручку у него на спине.

В ту ночь первый раз со дня знакомства с зайцем-всезнайцем выспался я крепко. Утром встал поздно, поработал и только после обеда отправился в соседний колхоз – с ружьем, без собаки.

Я пригласил с собой старого охотника, молодого и еще несколько стариков и парней. Я объявил им, что у них на глазах убью всем им известного зайца-всезнайца, которого они принимают за нечистую силу.

Мой уверенный тон сбил с толку насмешников. Перешептываясь между собой, они двинулись за мной.

Все шло как по-писаному.

Гончаки молодого охотника подняли зайца с огорода.

Заяц перемахнул осек, пересек поле и пропал в кустах. Собаки потеряли его след и вернулись к хозяевам.

Я повел колхозников к насыпи и показал им трубу. Все ахнули, а старик охотник пробормотал что-то насчет того, что ни один заяц в трубу не полезет, не кошка-де.

За полотном железной дороги собаки опять взяли след. Они обегали всю рощу и опять, смущенно поджав хвосты, вышли в поле.

Старик охотник презрительно посмотрел на меня и хмыкнул.

Молодой, наоборот, глядел на меня с доверчивым ожиданием. Я попросил его взять собак на сворку, сказал, что больше они нам не понадобятся. Он охотно повиновался.

Я привел компанию в середину рощицы, к большой черной луже, и снял ружье с плеча. Я сказал:

– Ваш заяц-всезнаец хитер, как лисица. Он нашел себе удивительно безопасное местечко для лежки. Вы стойте в двадцати шагах от него. Можете разговаривать, шуметь, – заяц не выскочит и не побежит. Он уверен, что ни человек, ни собака не найдет его в этом убежище.

Кто-то из колхозников недоверчиво спросил:

– Что ж, по-твоему, в эту лужу, что ли, он нырнул?

– Нырнуть не нырнул, а след свой в ней потопил.

– Полно морочить нас! – сердито вдруг заговорил старик охотник. – Поди, не на дереве сидит, – он показал на дряхлую пузатую приземистую иву посреди лужи. – Не птичка, поди, чтобы по ветвям порхать. Ты, парень…

Я прервал его.

– Как раз на этом-то дереве он и сидит. Смотрите.

Я поднял двустволку, прицелился в иву на метр от воды – и выстрелил.

В ту же минуту сбоку из дерева с плеском стеганул в воду русачина с белой палочкой на спине.

Все были так удивлены неожиданным появлением зайца из дерева, что молча стояли с разинутыми ртами. Никто даже и не подумал выстрелить.

– Разглядели? – спросил я. – Айда за мной!

Я вошел в лужу, и все пошлепали за мной.

Сбоку от того места, где мы только что стояли, в толстом стволе дряхлой ивы зияла большая дыра – дупло над самой водой. В нем на трухе была вмятина. Там были ясно видны волоски заячьей шерсти.

– Скажи ты… Лежка! – ахнул молодой охотник.

Старик только сплюнул и зашлепал назад по луже. Но вдруг он остановился, повернулся к нам и насмешливо проговорил:

– А ручку-то кто ему на спину приделал? Сам себе, что ли?

Но у меня и на этот вопрос был готов ответ. Когда я сидел на дереве и заяц-всезнаец проходил подо мной, я хорошо разглядел в бинокль эту «ручку».

– Сам, – сказал я, – конечно сам, при ближайшем участии вот этого молодого человека, – и я указал на молодого охотника. – Узнал?

– Моей работы! – рассмеялся молодой охотник. – Сам в кузнице ковал. Уж назад не выйдет!

«Ручка» на спине зайца – это был обломок стрелы самострела, установленного молодым охотником в дыре осека на огороде.

Здоровый русачина унес стрелу на себе, обломал ее где-то, а кусок древка с железным трезубцем, застрявшим в теле, так и носит у себя на спине.

Джульбарс (Рассказ ворошиловского стрелка)

Прошлого года осенью я был в командировке в Таджикистане.

Сижу как-то в столовке, обеда жду. Вдруг вваливается компания бойцов – всё молодые офицеры. Все очень возбуждены, громко разговаривают, смеются.

Один подходит ко мне, здоровается.

Оказалось, по Ленинграду знакомый. Представил товарищей, рассказал, как мы с ним на ворошиловского стрелка сдавали.

Обедали вместе, и тут узнаю, что вся компания сейчас едет на облаву: какого-то джульбарса стрелять, который много скотины загубил в окрестных кишлаках[7]. Какие-то там вырыты окопчики по числу стрелков, и только в одном не хватает стрелка: кто-то из офицеров заболел. И вот они меня с собой приглашают, непременно чтобы ехал с ними, и коня дадут и винтовку.

Я подумал, что джульбарс – местная какая-нибудь порода барса, зверь не такой уж страшный. Здоровая кошка – вот и все. Да и так на меня насели – не было никакой возможности отказаться. Подвиг, знаете, все-таки: население освободить от вредного зверя.

Отправились. Всего каких-нибудь километра два по степи от городка отъехали и остановились.

Дали мне заряженную трехлинейку и подвели к окопчику. Я спустился в него, а они дальше поехали – рассаживаться по таким же окопчикам. Очень скоро все с глаз скрылись, и красноармейцы поспешно ускакали назад с нашими конями.

Мне сказали: зверя надо ждать примерно через час. Времени приготовиться хватит.

Окопчик этот – простая яма, по грудь глубиной. Голова и плечи наружу, стрелять очень удобно. А в углу еще дыра, узенький ход вниз, весь в него влезешь, с головой.

Я подумал: «Значит, зверь все-таки опасный. В случае чего – в эту дыру надо нырять, отсиживаться от него. И зачем это я ввязался в эту музыку? Сидел бы сейчас под крышей и никаких зверей, кроме комаров, не боялся».

Правду сказать, всякие мысли в голову лезли: «Ну, барс, джульбарс – или как его там? – конечно, не лев. А все-таки с непривычки жутковато: зверь такой, что не только козла, а и здорового кабана берет. А кабан и сам даст на ходу клыком – у человека нога пополам».

Винтовку осмотрел тщательно. В порядке вся.

Кругом огляделся. Ровная-ровная степь. Трава совсем низенькая. Только шагах в двухстах впереди – тугай. Это кустарники такие непроходимые, джунгли. Слева и справа от меня головы соседних стрелков из земли высовываются, поблескивают ружейные стволы. Да очень далеко; зверь набросится – помощи не жди.

Время чем дальше, тем скорее летело. Я все на часы поглядывал.

И вот ровно через час слышу выстрел далеко впереди. Это, я знал, условный знак, что цепь загонщиков двинулась.

И опять полная тишина. Только высоко в небе противным голосом какая-то хищная птица кричит, летает кругами, да часы в моем кармане тикают.

Винтовка у меня давно наготове. И смотрю я, зорко всматриваюсь в тугаи. И все мне кажется: вон-вон высунулась из кустов звериная голова, поглядела и скрылась…

Сто раз успел передумать, как этот барс выскочит из тугаёв, – серый весь и черные круги по всей шкуре, ростом с гончую собаку, хвостом в ярости по бокам будет бить. Присядет на ногах, как кошка, и бросится вперед.

Вот перед прыжком и буду стрелять. В голову. Нет, лучше в левый бок ему – в правый, значит, от меня. В сердце. А то по черепу может пуля соскользнуть.

---

[7] Кишлак *(узбекск.)* – деревня.

Весь напрягся в ожидании и о времени забыл.

Потом, чувствую, устал стоять, устал вглядываться и вслушиваться. А глаза оторвать от тугаёв боюсь: вдруг он тут и выскочит?

Выхватил часы из кармана, глянул: уж полтора часа прошло после выстрела. Сразу сердце отлегло: сейчас не зверь, сейчас загонщики-красноармейцы покажутся из ту-гаёв. Пора уж им тут быть.

И уже веселыми глазами стал на тугаи смотреть: зверя уже не боялся.

…А он ползет. Уже почти половину расстояния от тугаёв до меня прополз. И как я его раньше не приметил, прямо не пойму!

Да и совсем не тот зверь, которого я ждал, – не барс.

Оранжево-красный весь, с черными полосами, а длиной, поверите ли, ну прямо с громадную тропическую змею, с удава!

Сознаюсь, сердце у меня так и сжалось. И весь я точно куда-то в пропасть ухнул.

Он не полз, а весь как-то переливался. Брюхо к земле прижато, ног не видно, только широкие круглые лопатки над спиной тихонько шевелятся. А голова – с бычью. И прямо-прямо на меня ползет. Да быстро ведь, как змея!

Опомнился я, схватился за винтовку. И вот сила привычки: как почувствовал в руках знакомый предмет, прижал приклад к плечу – сразу успокоился.

Локти упер в землю. Выцелил аккуратно в левый бок. Головой-то он ко мне был, так что рядом с его щекой пришлось целиться в плечо.

Вторым суставом указательного пальца, как полагается по правилам, плотно нажал курок. И, кажется, не успел еще замереть звук выстрела, как я оторвал приклад от плеча и щелкнул затвором: послал вторую пулю в ствол – и опять был готов стрелять.

Я ждал страшного рева, громадного прыжка, или что зверь разом упадет набок и в конвульсиях захрипит, задрыгает тяжелыми лапами. Словом, всего чего хотите, ждал, но только не того, что случилось. Гляжу и глазам не верю: зверь хоть бы дрогнул – ползет, как полз. Так же молча, так же быстро, так же прямо на меня.

Я – ворошиловский стрелок, почти снайпер. Я на расстоянии ста метров из пяти выстрелов не даю промаха в чуть видное черное яблочко мишени. Как я мог промазать?

Одной секунды не было на размышление. От верности прицела и быстроты выстрела зависела моя жизнь. Я это чувствовал всем телом. Я давно уже понял, что это за зверь передо мной – тигр.

Тигр всегда казался мне страшней льва. Ползучая груда мышц и страшная способность одним прыжком, мгновенно, бросать свое многопудовое тело на десяток метров…

Во второй раз я прицелился в голову: рассчитал, что если и соскользнет пуля по гладкой кости черепа и зверь кинется на меня, я все же успею еще раз или два выстрелить в него, пока он очутится рядом.

Рука не дрогнула. И после выстрела я опять мгновенно перезарядил винтовку.

Та же картина: зверь молча, быстро ползет на меня. Теперь и семидесяти пяти шагов не было до него, и я уже видел его растопыренные усы.

Что это: мираж, обман зрения? С таким же успехом можно стрелять в легкое облачко тумана.

Когда я выстрелил в третий раз, тигр был в пятидесяти шагах от меня. Я видел его сверкающие глаза. Они не моргнули и после выстрела.

Вдруг меня обожгла страшная догадка: я стреляю холостыми патронами! Ужас моего положения ясно представился мне: остается два выстрела, я не успею вставить другую обойму. И эти последние патроны – тоже лишь безвредные хлопушки.

Четвертый выстрел я сделал, когда зверь был в каких-нибудь тридцати пяти шагах от меня.

Тигр – ни звука. Только гибкий хвост, который я до того принимал за продолжение его неимоверно длинной спины, заходил по земле, как у кошки, подбирающейся к воробью.

Зверь готовился к прыжку.

Не помню, куда и как я выпустил пятую, последнюю мою пулю. В момент выстрела громадное огненное тело зверя беззвучно, с непостижимой легкостью отделилось от земли и метнулось ко мне.

Я выпустил пустую винтовку из рук, отскочил назад и ногами вниз скользнул в узкую нору на дне окопа.

В тот же миг надо мной нависла страшная пасть зверя. В лицо мне пахнуло горячим зловонным дыханием. Кроваво-красный язык и белые громадные клыки были над самыми моими глазами. Сумасшедший рев совсем оглушил меня.

Я заорал, кажется, еще громче зверя. И потерял сознание.

Очнулся я в постели. У изголовья стоял доктор в белом халате. Вся комната была полна молодых офицеров. У всех были испуганные лица, во всех глазах – напряженное ожидание.

– Как себя чувствуете? – обыкновенным голосом спросил доктор.

Мне все припомнилось сразу.

– А тигр? – спросил я.

Все наперебой закричали:

– Тигр убит!

– Сдох над вами!

– Небывалой величины зверь!

– Блестящая стрельба!

– Все пять пуль в нем!

– Две в левой щеке!

– Две в левом легком!

– Одна в левом плече!

– Если бы чуть пониже, – торопливо вставил мой знакомый, – угодила бы как раз в сердце. А так все пять пуль прошили зверя насквозь, без задержки.

Шкуру убитого мною тигра, или – по-тамошнему – джульбарса, я увидел только через два месяца, уже в Ленинграде. Товарищи по охоте дали из нее сделать ковер. Ковер вышел замечательный, такой большой, что покрывает весь пол в моей комнате.

Но когда я его в первый раз увидел, я вздрогнул: очень уж ярко припомнилось, как эта страшная туша на меня ползла, такая же безмолвная и такая же равнодушная к пулям, как этот ковер.

Роковой зверь

Говорят: сороковой медведь – роковой.

Киприян был темный человек и этому суеверию верил. Убив по счету тридцать девятого медведя, он положил себе этих зверей больше не трогать и стал избегать с ними встреч. На охоту стал ходить только высоко в горы.

В горах Алтая, где жил Киприян, каждый зверь соблюдает свое место. Медведь живет внизу, в черни-черневой, то есть в лиственной тайге. Выше в горы, где пошел пихтач, и еще выше, где чистый кедр, медведя встретишь реже.

Ближе к снежным вершинам – белкам – даже кедр не выдерживает, припадает к земле, ползучим кустарником стелется по холодным скалам. Тут уж если и увидишь медведя, то можно вовсе его не бояться; здесь не его владения, и он сам бежит от человека. Изредка только, в летний зной, вскарабкается косматый на площадку повыше, где рядом с веселой изумрудной травой лежит, ослепительно блистая на солнце, чистый горный снег: любит поваляться, покататься в холодной снежной перине, повыгнать блох из косматой шубы. И если тут услышит человеческий дух, стрельнет, как заяц, вниз, в родную тайгу, – только и всего.

Зато на холодных этих высотах всегда найдешь большого горного козла с острыми, загнутыми назад ребристыми рогами длиной с локоть. Здесь же пасется и крошечный безрогий оленок с торчащими из-под верхней губы клыками – кабарга.

За кабаргой да горным козлом и стал ходить Киприян, опасаясь, как бы его не заломал роковой сороковой медведь. А когда подошел июнь – время медвежьих свадеб, – старый охотник отправился на белки не тайгой, а скалистой крутой тропой, что ниточкой сбегала с горы к самой избушке Киприяна.

В эту пору медведи становятся беспокойны и встречаться с ними особенно опасно.

Охота была удачной. Киприян застрелил крупного горного козла, взвалил его себе на спину и той же тропой стал осторожно спускаться с вершины. Одностволка его была заряжена пулей. И еще две пули оставались про запас.

Тропа вела карнизом, таким узким, что разойтись на нем не могли бы и два человека.

Над тропой нависла голая, гладкая скала, а под ногами Киприяна развернулась глубокая пропасть.

Тут-то, на повороте этой опасной тропы, против всякого ожидания, охотник и столкнулся нос к носу со своим сороковым медведем.

За спиной у Киприяна был большой мешок с убитым козлом.

Ремни врезались в плечи – не стряхнешь. Повернуться, отступать было невозможно.

Оставалось одно: стрелять.

Но старый охотник не мог сразу осилить своего страха перед «сороковым».

Черная лохматая башка глядела из-за камня спереди. Медведь, видно, был удивлен неожиданной встречей не меньше, чем Киприян. Медведь разом остановился. Его подслеповатые глазки беспокойно забегали, нос зашевелился, из горла вырвалось низкое, скорее испуганное, чем угрожающее, рычание.

Медведь тоже не мог повернуться.

Или человек, или зверь должен был быть сброшен в пропасть, чтобы дорога освободилась для оставшегося в живых.

И все же Киприян медлил стрелять: оставалась еще надежда, что медведь попятится и задом уйдет по тропе.

Но и эта надежда пропала: медведь зарычал громче. Вслед за башкой показалась его косматая шея. Зверь наступал.

Киприян быстро поднял ружье, уперся твердо ногами в камень – и выстрелил медведю между глаз.

Дым на миг закрыл камень впереди.

Когда дым отлетел, медвежьей башки уже не было.

Киприян повернул ухо к пропасти. Но звука падения тяжелого тела он не услышал. Это его, впрочем, не смутило: внизу ревела, прыгая через камни, стремительная горная речка.

Киприян вздохнул полной грудью: путь был свободен. И роковой сороковой медведь «обошелся».

Прежде чем двинуться дальше, Киприян снова зарядил пулей свою одностволку.

А когда он поднял глаза от ружья, лохматая медвежья башка опять глядела на него из-за поворота тропы.

Киприян себе не верил: его пуля не причинила никакого вреда зверю. Так же торчала во все стороны жесткая шерсть на лбу. Даже легкой царапины не было заметно. И только маленькие глазки налились злою кровью.

Уж не рассуждая, Киприян приложился и спустил курок как раз в тот момент, когда зверь раскрыл пасть и двинулся вперед.

Ужасающий рев, такой рев, какого старый медвежатник в жизнь свою не слыхал, прогремел из белого облака дыма.

Звериная башка исчезла.

Пот выступил на ладонях, и ноги дрожали у Киприяна.

Все-таки он заставил себя опять перезарядить ружье.

При этом он не спускал глаз с поворота тропы и с ужасом видел, как из-за камня медленно выступает черный ноздреватый нос, за ним блестящие красные глазки и широкий лоб зверя – без капли крови на лохматой шерсти.

Роковой медведь был неуязвим для метких пуль старого охотника.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.